

Юрий  
Сальников



## КАК-ТО В ОДНОМ ДВОРЕ АЛМАТЫ

Цикл рассказов

### КРЫСИНАЯ ОХОТА

Радугой по хрусталу – разве жизнь не для нас?

Разве так уж на роду написано, чтобы злыдней судьба? Будто иного не дано, как нищета, грязь непролазная. Будто косность, очумелое невежество, брань с отрыжкой квашеной капусты – это уже ближе к теме. Будто позорное холуйство, мракобесие – это и вовсе, мол, по-нашенски...

За какие грехи такая доля? За какие провинности?

Продрогший от долгих скитаний по городу, утомленный безнадежностью, так что ни сон не брал, ни еда не лезла в горло, Кока Калошин, забившись в угол, разглагольствовал праздно и, заведясь от собственных риторических вопросов, принимался что-то терпеливо втолковывать шевелившейся во мраке Черной кучке, что водила из стороны в сторону длинными усами, сверкала глазками, внимала.

– Если на тебя кидаются с палкой, если каждый норовит камень кинуть вдогонку, как будто самая гнусная на свете мразь, разве тебе приятно? А каково человеку оказаться в этакой шкуре? Человеку, разумеется, хуже... Летом ещё куда ни шло, под каждым кустом – и стол, и дом. А каково зимой? Когда на улице вьюга, мороз трещит, штаны и куртка, давно не знавшие стирки, смерзлись, превратились в панцирь, а тело покрылось коркой коросты из грязи, пота и пыли, сделавшись точно броня, но не защитит от дрожи. У тебя-то шкура что надо! Я бы в такой и горя не знал, точно вытасив в жизни самый главный приз. Это как сытый голодного – не уразумет... Или тоже проголодалась? Ну, на-ка, поешь...

Он протянул жестом великодушия кусок зеленоватой, заплесневелой колбасы, найденной, как повелось, в мусорной свалке, зверек, шевеля настороженно усами, приблизился и стал откусывать прямо из рук, звучно хрустеть, а Калошин сипло приговаривал простуженным голосом:

– Сам не ел, а тебя, вишь, угощаю... Ты отметь это в уголках извилин... Ты, говорят, самая смекалистая в мире тварь...

Зверек продолжал терпеливо жевать, словно не обращая внимания на несурзные слова, а Калошина это неожиданно стало заедать:



– Ишь как, трескаешь и бровью не ведешь... Ладно, будет. Подзакусил немного и довольно. Хорошего помаленьку. Потом ещё дам... Или вот что... Коль уж такая хитрющая bestia... Вот бумажка есть такая, понюхай... – Он пошелестел перед носом зверька денежной ассигнацией, пояснив основной закон человеческого существования: – Если такая бумажка встретится где, то ты мне её принеси... Тебе она без всякой надобности, таких, может, тысячи встречаешь, а мимо проходишь. Зачем она тебе? Вещь совершенно несъедобная... А если мне принесешь то я тебе за это самой лучшей принесу колбасы. Настоящего сервелата! И ещё сыра – пошехонского или даже рокфора, как он называется... Одно могу сказать, в отбросах, по помойкам ты не вздумай искать, напрасная трата сил и времени будет, там они не валяются. Между прочим, тут неподалеку дом есть, где в подвалах этих бумажек видимо-невидимо. Пачками лежат. И не только в сейфах. Мне один инкассатор рассказывал, даже на полках в кладовой лежат... Так что соображай, какая тебе светит несомненная выгода...

Черная кучка задумчиво понюхала протянутую купюру, но как-то настороженно, даже брезгливо, не проявив к предложению должного интереса, вильнула длинным хвостом, проворно скрылась в норке.

– Деньги – это грязь, – усмехнулся Кока. – Правильно делаешь, что не приветствуешь!.. Форменное зло и попрание всякого смысла. Это уж так паскудно вышло в истории человечества, что поначалу они товар заменяли, служили товарообороту, а потом и смысл стали заменять... И это очень, очень прискорбно... Человек, может, только затем и приходит в этот мир, чтобы привнести чуточку этого самого смысла, а он, как ни парадоксально, его только развенчивает...

Черной Кучей – это бабушка в детстве пугала Коку. Пальцем грозила, страшила, когда принимался фордыбачить, не ел манной каши, то грозно приговаривала, показывая в окно: «Вон сидит. Если плохо будешь есть, придет и заберет тебя». «Где она?» – мальчик за столом вытягивал тонкую шею, вглядывался в сторону дальних сараев, ничего не мог разглядеть, но от угроз принимался торопливо глотать с ложки ненавистную манку-размазню, обжигался, замирал от страха...

Как давно это было... Не то чтобы в какой-то прошлой жизни, а как будто и не с ним происходило.

Жизнь моя, иль ты приснилась мне?

Словно я весенней гулкой ранью

Проскакал на розовом коне.

Когда-то ж и он был маленьким мальчиком, пробирался с опаской через весь двор, стараясь унять колотившую дрожь, приближался отважно к той Черной Куче, на которую указывал бабушкин палец, а темное зловещее пятно оказалось лишь старым, выброшенным кем-то тулупом, вывернутым наизнанку...

Выдумщицей была бабушка.

Однажды она собралась проведать дальнюю родственницу, и он упросил взять его с собой.

Они долго тряслись в автобусе, потом ещё долго шли по пыльной дороге. Родственница жила за городом, даже не на окраине, а где-то дальше... Долго плутали, не могли найти, поскольку ни улиц там не было, ни домов. Оказалось, свояченица прямо в поле жила, в землянке. Странно, удручающее это положение не произвело тягостного впечатления, как опасалась бабушка, когда не хотела его брать с собой. Он поел молочного киселя, вкуса какого не ведал прежде, заел

черным хрустящим сухарем, затем носился по полю, пестревшему алыми маками. Счастливый и беспечный, он носился как угорелый...

Правда, потом он всю жизнь вспоминал этот случай, иногда с печалью, сочувствуя человеческому поражению, краху в этой сложной, полной коварства, подлых подводных течений жизни, но чаще всего с какой-то незамутненной радостью, как обретением воли, полной, настоящей свободы, не закабаленной никакими вещами, ни условностями...

Возвращаясь, они ехали с бабушкой по городу, где на глиняных дувалах кривых улочек, прямо поверху, цвели эти пунцовые маки, трепетали на ветру яркими, ослепительными лепестками.

Как-то бабушку осенила непонятная затея. Она принялась одевать свои лучшие наряды, заметно волнуясь, и волнение передалось внуку. Они отправились в цирк, и посещение это, можно сказать, сыграло решающую роль в его судьбе.

Старинное, по-видимому, ещё дореволюционной постройки здание было с деревянными колоннами и высоким куполом. Повсюду в воздухе свисали какие-то тросы, толстые канаты. Он запрокидывал голову, и дыхание перехватывало, когда гимнастка в расшитом блесками костюме перелетала на большой высоте с одной трапеции на другую. Полеты акробатов на подкидных досках и чудеса эквилибристики вызывали удивление, всерьёз поражался струям брызнувших слез из глаз клоуна с рыжими волосами и в огромных ботинках. Завораживал рык клыкастого тигра; сверкая чешуей, питон внушал взором почтение, и каких только выкрутасов ни вытворяла свора лохматых белых собачек с обезьянкой в юбочке. И так выходило без двусмысленностей, то, что было за гранью возможного, здесь осуществлялось с легкостью. Это была загадочная область, тот неведомый край, территория изумления, где обитало подлинное, ненадуманное счастье. Потому всё вызывало невыразимый восторг: яркие огни софитов, медь оркестра, золотистые опилки, которыми был засыпан круг, и даже витавший в воздухе острый запах конских неопрятностей. Тогда, верно, и запало в душе, что самым заветным в жизни желанием, самой главной мечтой и небывалой удачей будет, если судьба свяжет его, позволит соприкоснуться с этим диковинным миром...

Так рождаются мечты, которые разбивают сердца.

В круговерти дней, из каких складываются годы, запавшее в душе не забывается, и как задумал – исполнилось. Повзрослев, он прибил к бродячему цирку, именуемому таинственно и вычурно – шапито. Разнорабочим был, униформистом, помощником дрессировщика – в клетках убирал, кормил животных, к повадкам их присматривался, потом своей обзавелся группой. Поначалу она состояла из большого бельчонка и брошенного бульдога, затем лисенка подарил чабан – номер себе придумал исходя из талантов и наклонностей своих неугомонных подопечных, так вот и закружило его веселое, хлопотливое счастье.

Личная жизнь, правда, у Коки Калошина не вполне удалась. Вернее сказать, совсем не сложилась. Две жены его бросили. Всё из-за бродячей жизни – гастроли, разъезды, а женщине, известно, постоянство нужно, кров. Не потому что прихоть такая, просто в ней изначально заложена эта исконная роль – хранительницы очага. К стыду своему, он как-то не придавал этому особого значения, не думал, что это столь важно, спохватился, когда уже поздно было. Из порушенного трудно заново что-то лепить. Наверное, невозможно... Да и так, честно говоря, гастрольная жизнь им завертела, что особо горевать не приходилось... Зверьё

своё любил, и оно отвечало ему тем же... Визжат, ластьются, едва завидев, в клетку зайдет, каждый в нос норовит лизнуть, боже, как людям далеко до подобных чувств. Если бы они хоть чуточку поучились у зверья, братьев своих меньших, чуткости в отношениях, как бы по-иному стали жить...

С последней женой и вовсе скверная история вышла. У нее был собственный домик в предместье, так что в свою квартиру, что ему бабушка оставила в наследство, не стал приводить. К сынишке своей благоверной привязался, ибо всегда мечтал о детях. Когда окружает такое множество восторженных детских глаз, которых постоянно видишь во время выступлений на арене, то особенно остро ощущаешь, чем в семье оказался обделен. Потому и восполнить старался, однако мальчонка почему-то сразу его невзлюбил, настороженно встретил, буквально в штыки, да и долгое отсутствие по гастролям не способствовало налаживанию мостов, а с годами всё больше становилась пропасть отчуждения.

Тут ещё беда стряслась с дерзким, заносчивым подростком, решившим особым способом отметить свое совершеннолетие, настоящий фейерверк устроить. Однако бутылка с гремучей зажигательной смесью взорвалась у него буквально в руках, весь обгорел, для спасения жизни нужно было провести очень сложную операцию с пересадкой кожи. Бесплатно такие операции не делаются, а где деньги взять? Вот жена и обратилась к нему вся в слезах, давай, мол, квартиру твою продадим, больше нигде средств взять, а иначе потеряем сына. Так и поступили. Продали срочно квартиру, оказавшись в столь стесненных обстоятельствах, диктуемых злой волей, да все деньги, считай, ухлопали. За операцию да за выхаживание.

В общем, вытащили парня из объятий старухи, что с пустыми глазницами да с косой. Здесь бы и вздохнуть облегченно, но внезапно жена скончалась – испереживалась, по-видимому, из-за случившегося, сама как надломилась, или такой уж план был у злопамятливой старухи, что решила отомстить по-другому, взяв взамен...

Не успел от одного несчастья отойти, как иное случилось: медведь – главный артист в его номере занедужил. Конечно, возраст, да и время перемен сказалось пагубно – для цирка трудная наступила пора борьбы за выживание, когда всякое дорогое содержание делает нерентабельным предприятие. Конфликт на этой почве возник с руководством. Люди, называется, столько лет зверь отдал работе, верой и правдой служил, а козь занедужил, сразу стал и не нужен... Могли бы хоть каплю сострадания проявить, но куда уж!..

Скончался медведь, про покупку нового и говорить не приходилось, так что подал и сам хозяин заявление об увольнении, хлопнул раскатисто дверью...

Вернулся из последних гастролей вольным соколом, а тут новый поджидал поворот судьбы. Парнишка нашел родного отца, давно пропавшего, а оказавшегося в Америке... Продали они домишко – мать, оказывается, перед смертью, думая о будущем сына, завещание оформила у нотариуса – и уехали навек из отчизны. Даже записки не оставили, один лишь маленький чемодан с обносками передали на сохранение соседям...

Так оказался Кока Калошин на обочине жизни. Без крыши над головой, в подвале. Без работы и средств к существованию – бомж, как принято называть пренебрежительно для пушей краткости...

Что-то поскреблось по каблuku его дырявого, сбитого ботинка, затем вскарабкалось, поползло по туловищу. Станным, непонятным запахом повеяло в воздухе.

Кока повернул голову и не поверил, не мог поверить своим глазам: перед ним, буквально перед самым носом лежала... Пачка денежных ассигнаций... Крупными купюрами, в целехонькой банковской упаковке. Он столько денег, по правде говоря, за всю свою жизнь в руках не держал. Вон, оказывается, что за незнакомый запах! Это большие деньги столь остро пахнут краской.

Черная кучка держала пачку в зубах, поблескивала глазками с азартом удачной охоты.

– Ну, ты даешь! – сипло отозвался Калошин. – Подтвердила, выходит, славу про свою смекалку... Bravo!... Вижу, что и сама собой довольна, гордишься... Право, гений, хоть и пройдоха... Снимаю перед тобой шляпу... Теперь, понятно, мой черед держать слово... Ты даже не представляешь, сколько на эти бумажки сервелата купить можно... Полный магазин можно купить или, по крайней мере, грузовик... Впрочем, это было б, конечно, чрезвычайно неразумно... Для сытости достаточно было одной штуки... А вот ежели ты ещё раздобыла б несколько таких пачек, то я вполне бы мог и квартирный вопрос решить... Купили б с тобой на пару квартиру да зажили.

Разве мы с тобой лыком шиты? Вполне было б по справедливости!.. Нет, ты ничего плохого не думай... Я зубы не заговариваю. Помню про свое обещание... Просто мечтаю...

Он отдал крысе остаток заплесневелой колбасы, взял пачку денег, подумал, поколебался несколько секунд. Носить с собой всю пачку – рискованное дело, извлек несколько ассигнаций, пачку припрятал за трубу отопления в укромном месте. Затем поднялся, выкарабкался на четвереньках из подвала через окно.

Отойдя на некоторое расстояние, он принялся стучать ботинками, отряхивать пыль и охорашиваться, как надлежит всякому порядочному человеку, по крайней мере, шелест солидных ассигнаций в кармане с очевидной внятностью к этому призывал.

Поёжился, кутаясь в ветхие лохмотья, крепкий мороз пробирал до костей. Шаркая подошвами и взметая клубы подвальной пыли, что ложилась шлейфом на голубоватый, искристый снег, поплелся в ближайший гастроном. Прохожие подозрительно оглядывались, с брезгливой опаской сторонились.

В теплом сверкающем зале, ломившемся от продуктового изобилия, посетителей по причине позднего часа было уже немного. Калошин, отвыкший в подвальной темноте от яркого света, зябко шурился, взял из морозильного лотка самый крупный сверток колбасы, помялся, взял ещё – один для себя, другой – в качестве поощрительного приза пронырливой добытчице.

Впрочем, подумал, посчитал, прикинул в уме, мог бы и кое-что ещё себе позволить, коль такой произошел невероятный казус. Просто сногшибательно пофартило, можно не мелочиться, устроить – в кои веки! – пир души!..

Даже бутылку самого дорогого, самого умопомрачительного коньяка мог бы купить, да жаль, давно уже в рот не берет хмельного. Аннулировал для себя пагубную страсть, ибо рассудил трезво, что это путь на дно, а так, глядишь, ещё удастся выкарабкаться.

Теперь даже несколько пожалел, что дал подобный зарок.

Бутылку кефира взял, пачку творога и сыра – рокфор! – погрузил свертки в передвижную тележку.

Что ещё? Банку кильки в томате взял – любимый продукт! Потом передумал, положил назад, взял банку шпрот. Вновь поколебался. Положил на прежнее место, взял самую большую банку черной икры – может себе позволить, да и усатая приятельница будет довольна. Она известная любительница деликатесных яств!..

Толкая перед собой тяжело нагруженную тележку, Калошин направился к кассе, невозмутимо извлек из кармана хрустящие ассигнации. В заскорузлых обмороженных пальцах деньги светились каким-то необычным сиянием, и кассирша подозрительно посмотрела на покупателя. Она непроизвольно поморщилась от запаха, что исходил от грязного, давно не мывшегося человека подземелья и мусорных свалок, но, чуть замешкавшись, засуетилась, расплылась в приторной улыбке, приученной новыми веяниями для успешной торговли:

– Извините, я только что выручку сдала и мелкой купюры для сдачи нет. Подождите минутку, я сейчас разменяю.

Она защелкнула кассу ключом, проворно выскользнула из мягкого кресла.

Калошин помялся с ноги на ногу от возникшей неловкой паузы. Какое-то непонятное тревожное чувство шевельнулось в груди. С какой стати она засуетилась? Может, вправду нет сдачи? Или засомневалась, не фальшивые ли купюры? Он об этом как-то и не подумал. Если взглянуть на ситуацию её глазами, что могла она вообразить? Подходит этакий грязный, оборванный бродяга с полной корзинкой продуктов – сервелат, рокфор, большая банка черной икры, да ещё и крупные ассигнации протягивает, пахнущие свежей краской. Ясно, подозрение возникнет. Где взял? Как будто ей не всё равно! Нет, непременно бдительность должна проявить, неусыпное рвение, точно зуд какой-то!..

Он схватил сверток колбасы, метнулся к выходу с противоположной стороны торгового зала, сотрясая воздух шелестом купюр:

– Мне некогда ждать... Вот возьмите... Сдачи не нужно!

Он выскочил из магазина, слетел кубарем со ступенек высокого крыльца, слыша за спиной грохот по кафельному полу торгового зала грозных ботинок военизированной охраны. Мало того, к главному входу уже подлетела патрульная машина полиции. Дверца распахнулась, несколько человек выскочили, выхватывая на ходу пистолеты. Они бросились в торговый зал, где им навстречу выбежала бдительная кассирша, у которой не нашлось сдачи, а теперь она с перепугу указывала в сторону подозрительного покупателя, миновавшего турникет. Плохи дела!..

Кока свернул за угол, кинулся в проходной дворик, заслышав вдогонку, как пронесшиеся вихрем по торговому залу оперативники уже выскочили на улицу, возбужденно выкрикивали:

– Вон он! За угол побежал...

Он петлял между ледяной горкой и детскими качелями, перепрыгнул засыпанную сугробом песочницу, уперся в кирпичный забор, а за спиной уже слышался гулкий грохот кованых ботинок и шумное дыхание преследователей, увлеченных азартом погони. Если настигнут, то ему несдобровать. За товар он, конечно, расплатился сполна, но ведь деньгами из банка. Как объяснишь, что он не грабил этот злосчастный банк? Даже через порог не переступал его подвалов...

Калошин сунул сверток во внутренний карман куртки, полез на забор, выискивая заскорузлыми пальцами пазы в кирпичной кладке, судорожно впиваясь

и раздирая кожу в кровь. Каким-то чудом, движимый отчаянием и паническим страхом, что подхлестывают, придают сил беглецу, уходящему от погони, он сумел вскарабкаться, перепрыгнуть через забор.

– Стой! – кричали сзади, грозно ругаясь. – Стой, шваль... Никуда, гнида, от нас не уйдешь...

Он кинулся в подъезд. Разумеется, колотиться в двери квартир было бесполезно. Если кто и откроет, то всё равно сдаст погоне... Этот вариант не подходит, вообще, было весьма опрометчиво заскакивать в подъезд многоэтажки, всё, равно что оказаться в ловушке. Куда тут денешься? Он заскочил в лифт и нажал кнопку последнего двенадцатого этажа. Единственный выигрыш в данный момент – маленькая фора, что может дать, если, поднявшись на последний этаж, Кока заклинит дверь, и погоне придется взбираться бегом по крутой лестнице. А дальше что?

Он заклинил лифт, подбежал к дверце, ведущей на крышу здания, но она оказалась запертой. Отмычка, с которой, понятное дело, никогда не расставался как с весьма важным инструментом в быту бродяжьей жизни, была при себе.

По лестнице слышался гулкий топот ног и шумное дыхание тренированных преследователей, а он всё возился с отмычкой, приноравливаясь заскорузлыми с мороза пальцами, наконец, распахнул дверь. А теперь что? На пяточке плоской крыши, взметнувшейся в ночное звездное небо, куда деться? Не взлетит же в воздух, взмахнув руками. Как говорится, через несколько секунд бери его тепленьким.

Он метался по крыше, судорожно озираясь, пытаясь что-нибудь придумать, найти укромное местечко. Спрятаться оказалось негде, зато внимание привлек трос, что был перекинут на соседнее здание, спускаясь по наклонной. Если только воспользоваться этой оказией? Перелететь через бездну между зданиями, но выдержит ли ненадежный провод? Риск без какой-либо страховки! Впрочем, была не была, где наша не пропадала.

Кока Калошин схватил подвернувшийся поломанный обод колеса от детского велосипеда с трещиной, сквозь которую просунул трос. Он накинул для скольжения обломок ребячьей забавы, ухватился за него обеими руками и кинулся в бездну...

Наряду полиции, выскочившему в это время из распахнутой дверцы, предстало зрелище, захватывающее дух. Беглец словно взмыл в воздухе, пролетел над пропастью между зданиями, пронесся над улицей, как будто персонаж в знаменитой картине Марка Шагала...

Запыхавшиеся сотрудники полиции, бывалые свидетели самых невероятных, экстремальных ситуаций, смотрели как замороженные, отдавая должное отваге смельчака и не в силах скрыть своего восхищения:

– Ну, надо ж!.. С виду бродяга... Ни за что не скажешь, что на такое способен. Просто цирк какой-то...

Трос оборвался в самый последний момент, когда до слухового окна, куда он был протянут, осталось лишь метра два. Кока пролетел их по инерции и с разгона врезался в решетчатую створку. От удара она хрустнула и со скрипом поехала назад, так что вцепившийся в неё Калошин повис над улицей. Он болтал ногами над городом, пытался придать раскачивающейся створке движение в обратном направлении – лишь бы она не сорвалась с проржавелых шурупов,

которые протяжно скрипели в петлях, будто подтверждая отчаянную безнадежность ситуации.

От удара увесистый сверток колбасы во внутреннем кармане порвал подкладку, провалился с грузным стоном в угол куртки, отчего она расстегнулась на всех пуговицах, распласталась, как крылья ночной потревоженной птицы, а порыв свирепого ветра швырнул повисшего на головокружжительной высоте беднягу назад к слуховому окну. Кока сумел воспользоваться благоприятным шансом, зацепился ногой за край рамы, затем подтянулся, ухватившись руками. Он скрылся в темноте чердака, пересек его и с противоположной стороны здания спустился по пожарной лестнице...

Калошин спрыгнул в сугроб, заковылял, припадая на одну ногу, словно раненый, истерзанный травлей бирюк, матерый и грозный. На припорошенной снежком наледи неловко поскользнулся, растянулся плашмя, но тут же поднялся, кинулся наутек знакомыми задворками. Теперь это были те места, где он всё знал назубок, как свои пять пальцев – разные лазы и щели. Выбрался к своему логову, скользнул в окно, забился благополучно в теплый угол под трубой тепло-трассы.

Он лежал некоторое время, переводя дыхание, как невольно ощутил на себе чей-то пристальный взгляд. Обернулся. Черная кучка сверлила его бусинками глаз, поджидала терпеливо.

– Понятно, – догадался Калошин, – ждешь обещанную награду?

Он сунул руку во внутренний карман куртки. Совсем забыл про купленную колбасу, не до того было во время погони. Оказывается, увесистый сверток порвал карман, провалился за подкладку куртки, быть может, это обстоятельство и спасло, когда повис, ухватившись за решетку слухового окна.

– Сдержал я своё слово, принес тебе обещанный презент, – сказал он, извлекая из куртки тяжелый кусок деликатесной колбасы. – Как обещал, так и исполнил. Уговор, говорят, дороже денег... Ты как предпочитаешь, от целого куска есть или лучше порезать ножичком, как надлежит в культурном обществе? Да, ты права, эти замашки шантрапы нам ни к чему...

Кока достал припрятанный нож, отрезал пласт колбасы, протянул зверьку, который тут же принялся с аппетитом откусывать, звучно, с заразительным хрустом жевать. Сразу было видно, что продукт пришелся по вкусу. Конечно, это не могло не порадовать. Он наблюдал вдохновенную трапезу, невольно перевел взгляд в сторону и обомлел... Рядом в темноте подвала возвышалась, таинственно мерцающая, другая кучка... Из денежных знаков в банковской упаковке. Из-за этого, быть может, и возник в супермаркете переполох? Обнаружилась пропажа, и потому нагрянула полиция?.. Нет, скорее всего, это просто какое-то стечение обстоятельств. Кассирша заподозрила что-то неладное, вот и наделала шуму. Кладовая в банке сейчас опечатана, никто, наверное, и не знает о пропаже...

Он наблюдал, с каким аппетитом Черная кучка уплела колбасу, отрезал ещё кусок, протянул ей, а сам принялся прыскать от приступов накатывавшего смеха. Он представлял себе служащих банка, которые завтра, открыв опечатанную кладовую, обнаружат пропажу. Помчатся за директором, потом все станут разводить руками, недоумевать, каким образом подобное могло произойти? Все замки и запоры целы, печать на дверях целехонька и сигнализация в исправности, а деньги исчезли – точно испарились. Были, и вдруг не стало. Мистика какая-то!..



– На такую кучу денег, – смеялся он, – можно корабль с колбасой купить. Да что там мелочиться, прямо с кораблем купить... Вот ты произвела фурор в мире финансовых воротил, всем акулам бизнеса утерла нос. Ну и пройдоха! Вот уж точно – смекалистая бестия!.. Ограбление века!.. А с другой стороны посмотреть, теперь вся полиция будет на ногах, шагу не дадут ступить с этими купюрами. Живо сцапают... Похоже, прокол вышел, не то чтобы жадность подвела, а, можно сказать, презрение к этим жалким бумажкам. Что они стоят? Вот лежат кучей и ничего они не стоят... Нам бы с тобой квартирой как-нибудь обзавестись, не подвалом, хоть и с теплой трубой теплотрассы, а настоящей крышей над головой... Вот бы тогда мы воспрянули духом... Я на работу устроился бы, коль есть прописка, то это уже проще... И тебе бы нашел местечко. Цирк, говорят, нынче ожил... До процветания ещё далековато, зато появились кое-какие признаки жизни... Пусть даже на первых порах не на арене, а в фойе детишкам на забаву показывали б разные трюки. Как считаешь? Одобряешь... Готова разделить жребий артиста?.. У тебя получится, у тебя несомненные задатки. Уж я-то, поверь мне, знаю в этом толк...

Он задремал, продолжая во сне стонать и вскрикивать от преследований погоны, то посмеиваться и строить какие-то сумасбродные, несбыточные планы...

Когда открыл глаза, на улице уже рассвело, тусклый свет пробивался. Черная кучка выглянула из норки, в зубах она держала что-то.

После всех событий, происшедших накануне, ничему, казалось бы, нельзя уже было удивляться, но он взял протянутый ему листок и не мог поверить своим глазам: это был билет жилищной лотереи, которую проводил банк, желая стимулировать рекламу ипотечного кредитования.

– Ты полагаешь, что это выигрышный билет? – спросил он недоверчиво. – А тираж когда? Сегодня? Считаешь, что на сей билет сегодня выпадет главный приз, и у нас с тобой сбудется всё то, о чем мы мечтали?

Черная кучка ничего не ответила, даже не пискнула на вопросы, поставленные ребром, будто ответ напрашивался сам собой, был вполне очевидным, разумоушимся. Она только поблескивала глазками с тем видом, словно почему бы ветреной фортуне взять да не улыбнуться ему, почему бы не явиться пусть даже в таком вот образе, если от людей уже не приходится ждать ничего хорошего, никаких особых милостей и знаков сострадания...

## СМЫЧОК РАЗЛУКИ

В час преддверия декабрьских сумерек, когда стылый воздух прогорк от гари и безвременных потерь, день – короче некуда, и не приведи оказаться одиноким, покинутым всеми, пришла печаль к Архипу Сергеевичу.

В складках портьеры, колыхнувшейся с дрожью, возникла мимолетным видением, то ли была, то ли небыль, словно причуда в нескромных одеждах из обмолвок, недосказанностей, очаровательных притворств и прочих зряшностей. Пристальный взор смутит, как прелесть сражает застигнутого врасплох человека, привыкшего к сутолоке однообразных будней, к автобусной давке, разговорам ни о чем, к толчее серых ватных туч на небосклоне.

– Что уставилась? Проходи.

Хозяин подчеркнуто строг, давая сразу понять, что не склонен к праздному суесловию, лучше без утайки и долгих предисловий объясни толком, в чем причина столь странного визита.

Загадочная гостя по комнате кружит, корешки книг потрогала, провела мизинцем по полке в серванте, оставив на пыльной поверхности бороздку и покачав укоризненно головой. На кухню зачем-то завернула, ворохом невымытой посуды громыхнула, капавший водопроводный кран прикрутила плотнее. Головой покачала в такт плавной походке...

– Ну, рассказывай, как дела? Как настроение?

В облике незнакомки что-то до боли родное, близкое. Вопрошающее личико чуть удлиненное, будто выточено из слоновой кости, подправлено тонкой кисточкой, обмакнутой в капельку акварели, волосы струятся изумрудными водорослями, переливаются, платье серебристо-дымчатое, с матовым сиянием стройного тела, что как перламутр мерцает, не стыдясь, как красота гордится, полагая, что спасает мир. А глаза огромные, с поволокой, как у жены, когда ей первой довелось узнать прескверную весть, но при этом не скажет, не обмолвится, а сердце вдруг занает, защемит...

– Всё нормально, – отвечал он уклончиво.

– А ты не скрытничай. Не держи в себе. Хочешь – поплачься, и легче станет.

– Мне-то зачем, чтобы легче? Мне-то, может, как раз этого и не нужно.

– Занозистый ты мужик, Архип Сергеевич! Всех бы подзадевал. Никому от тебя проходу нет, возникаешь с придирками. В автобусе мальчик сидит, в окно уставился, чтобы пожилой женщине с сумками места не уступать, зато никому не мешает, никто его не попрекнет, а ты цепляешься... Или подростки расщумятся в подворотне с гортанным глумливым гоготаньем, у прохожих лица откровенно отстраненные, каждый прошмыгнуть норовит поспешно, тебя ж непременно зудит с наставлением. А они тебе шляпу помяли.

– Шут с ней, с той шляпой! Разве в том дело? Отцы, видать, зеленые плоды ели, а у бестолковых – оскомина.

– А ты о сокровенном поплачься. О наболевшем. Целая система, так и называется – Станиславского. Недаром портрет корифея в резной рамке на письменном столе держишь. К слову сказать, замечательный портрет. С хитринкой за овальными стеклышками пенсне, а губы младенческим бутонем алых роз, вот-вот приоткроются, прошелестят что-нибудь сокровенное. К словам гениев прислушиваться надобно, не всегда брать на веру, ибо ихнего брата, известно, порой заносит повитать в облаках, зато между строк прелюбопытные проскальзывают пикантности. Золотистый, с поджаристой корочкой румяный бублик он, скажем, сам скушал-с, крепким чаем запивал с сахарком, помешивая мельхиоровой ложечкой, переломанной, как солнечный луч в стакане, а дырка осталась в веках. Используй достойно. «В единственном случае, – гласит совет мудрого, – слеза способна навернуться на глаза, коль себя пожалеешь...»

– Да ничего такого особенного в моей жизни и не было, чтобы плакаться в манишку.

– Ну, как же, сколько лет театр собственного здания не имел... Ты всю жизнь, можно сказать, ухлопал на хождения по инстанциям, мало что у начальства плешь проел, но и у самого на голове почти ничего уже не осталось.

– Это точно! Хождение по мукам. Целая эпопея, можно сказать, получилась с обретением пристанища. Без крыши над головой какой храм искусства.

Бывший ресторанчик в парке поначалу был приютом. В маленьком зрительном зале стойко пахло винной пробкой, винегретом, селедкой, не выветривались, незримо витали в воздухе призраки бражного куража. Помещение неприспособленное, никаких условий, всё на голом энтузиазме, а работалось славно. Как-то запойно, не считаясь со временем, ни с усталостью, ни с зарплатой, что, известно, не бог весть какая. Зато юный зритель одаривал сполна признательным жаром, то хохотал до упаду, то неистово топал ножками в ответ на происки коварного злодейства, не жалел ладошек за торжество добра и справедливости. И всё у труппы получалось, не требуя каких-либо свидетельств заслуг, лауреатских званий. Хотя было и это. Тот период особенно выдался урожайным на победы в разных конкурсах и фестивалях. Молодой коллектив становился на ноги, как писали газеты в многочисленных хвалебных отзывах, обретал своё лицо, неповторимость черт, суля в будущем несомненный творческий взлет... Беда пришла нежданно-негаданно. Приближалась годовщина победы в Великой Отечественной войне, а поскольку парк имени 28-ми гвардейцев-панфиловцев, отличившихся в битве под Москвой, то решено было соорудить мемориал Славы. Как полагалось, во времена застоя, масштабно, с размахом. И памятник удался. Грандиозная фигура политрука Клочкова и его товарищей заслоняла грудью от ненавистного врага Кремлевскую стену, крикнув на века: «Велика Россия, а отступать некуда!..» Кардинальной реконструкции при этом подвергся и сам парк, снесены были все увеселительные аттракционы, старый кинотеатр, библиотека, а также и театр кукол не вписывался в величественную панораму.

Посетовали, повздыхали, но делать нечего, стали обживать бывший кинотеатр «Ударник», который некогда был церквушкой, первым общественным зданием в городе. Воздав должное проекту, даже автобусную остановку стали называть как театр. Однако затеяли реконструкцию да столь неумело и надолго, что архитектурная достопримечательность обратилась в руины, вызвав, должно быть, вздох облегчения у городских властей, для которых эта стройка, по-видимому, была головной болью. Худшая из разрух коснулась и некогда сплоченной, снедаемой неутолимым творческим огнем молодой труппы – раздоры начались, разборки, дразги... Лишний раз подтвердилась неукоснительность давнего тривиального завета, что служение музам не терпит суеты...

Новый кров кукольному театру на сей раз предоставили не на задворках.

Это бойкое место в городе когда-то с пафосом, хотя не без ехидства, именовалось местным Бродвеем или просто – Бродом. Тут бродили толпы шестидесятников, осоловев от беспробудных пьянств, мечтаний, от хмельной услады пылких слов и предчувствий перемен – оттепели, как потом назовут эту пору, когда, дух, казалось, воспрянул, приниженная после гонений и репрессий совесть стала подниматься с колен, поэзия завладевала умами, собирая полные залы восторженных поклонников. Странная эта пора, как известно, выдалась сколь яркой, запоминающейся, столь же и краткой. Это понятно. Непостижимое в другом... Когда почил в бозе, рухнул тоталитарный режим, главный душитель, как думалось, и притеснитель идей, то, собственно, что мешало воспрянуть духу? Никакая тирания вроде не препятствовала, но не случилось... Почему? Выходит, весомей доводы

поборников «общества потребления» про сермяжную правду природы человека, в котором, как ни крути, больше зверя. И что в ответ? Ответить нечего?..

Нехитрый скарб театр кукол перевез в бывшее – опять это набившее оскомины слово! – здание ТЮЗа. Вновь началась реконструкция, стройка затянулась, завершившись в конце концов довольно неожиданным финалом, достойным древнегреческой трагедии: пожар охватил ветхое деревянное строение, вспыхнувшее как спичка и, несмотря на расторопность отважных пожарных, сгоревшее дотла...

Там и поныне пустырь, засаженный, словно впопыхах, кривыми, чахлыми березками, будто подражающими бродившим здесь некогда завсегдатаям в шапке походке.

Просителем от погорельцев Архип Сергеевич не вызывался. Неблагодарная роль – взывать к состраданию, да и нытье было не по нутру. «Бросьте, – пытался он ободрить сникших, растерянных коллег, – довольно хандрить, кукситься! Сколько можно уповать на милость власти! И как унижительно!.. Лучше купим в складчину верблюда, пару мохноногих лошадок, повозку, размалюем кибитку поярче, разухабистей да покатаем по просторам Отчизны! А?..»

При этом он жмурился, сладко замирал, задохнувшись от собственной фантазии, которая тут же без долгих сборов и проволочек уносила куда-то по проселкам, взметая легкую пыль странствий...

Шелестят колосья тучной нивы, скрипучие колеса катят сначала под уклон, затем в гору, а за холмом – мирное селение, выворачивающее скулы, как исстари повелось, от апатии и извечной скуки. «Люди, люди!» – призывно и тревожно ударят тамтамы. «Почтенные селяне! – оглашенно подхватит зурна. – Спешите сюда...» И скрипка пронзительно запоет, зарыдает: «О, нет, мы не станем вам докучать, моральями донимать и нотациями, а позабавим досужей выдумкой, приоткроем завесу самой праздничной стороны человеческого бытия, где любовь и добро должны побеждать, а подлость коварства, злой умысел терпеть сокрушительный крих!..»

«А сена где добудем?» – язвительно брюзжали самые разумные и дотошные. «О чем вы говорите! – возмущался он. – Речь идет о материях куда более насущных... Когда душа распрямляется, перестает угождать на побегушках суеты... Сена-то и сами накошим или купим. Разве ж это проблема?» «Вот именно в корень нужно смотреть, а не вилять в позорном унижении хвостом... Мы нужны государству или нет? Вот в чем вопрос!.. Государство заинтересовано в расцвете личности каждого, в расцвете всех форм познания и искусств. Это чиновничья рать чинит препоны, из-за собственной недалекости искажает картину бытия... Петицию надобно составить про бедственное положение, изложить всё как есть и в самых жалостливых тонах. Только любой бумажке пуще что нужно?.. Вот именно: ноженьки!.. Чем пустым бредням предаваться, лучше шапку в руки и в путь-дорогу!.. И больше блеску в глазах, харизмы, испепеляющего волокитчиков святого огня и веры в правое дело...»

В общем, избрали ходатаем по инстанциям, наделив как парламентаря, полномочиями. По кабинетам принялся слоняться Архип Сергеевич, обивал пороги с кляузным видом, в одну дверь выталкивали – не отвлекайте от работы, в другую – смилив гордыню, протискивался: «Искусство помогает пережить чувствами чужой опыт...» «А мы, по-вашему, этого не знали?.. Прямо глазоньки нам рас-

крыли... Сказано: рассмотрим в законном порядке...» Он опять возвращается, протискивается с недосказанным аргументом: «Конечно, это всем известно... Самые выгодные капиталовложения – в человека!.. Чтобы разносторонней личностью совершенствовался, рос, а не жалким исполнителем чужой воли... Вроде всем понятно, а почему, объясните, в бюджете сие последней строкой и в самых малых цифирьках? Не разглядеть!..»

Высокое начальство, преисполненное лоска и напускной чуткости к запросам кивает благосклонно, лишь в уголках губ – смертельная тоска, мол, что навязался... У страны столько проблем... А ты ещё тут пристал как банный лист... И с чем? С безделицей... С жизнью каких-то финтифлюшек!..»

Он взорвется, выйдет из себя, а то, бывало, и кулаком по столу громыхнет.

– Скверная история!.. – кивнула согласно загадочная гостья. – Утешает лишь, что с хорошим концом...

– Слабое, надо заметить, утешение, – шумно вздохнул Архип Сергеевич...

– Почти четверть века ушло на хождение... Здание-то выделили и капитальный ремонт в конце концов сделали... Между прочим, рядом с тем же парком имени 28-ми гвардейцев-панфиловцев... Метров двести, наверное, от прежнего места, с какого эпопея по мукам началась... Будто ирония судьбы – а жизнь прошла. Что от дерзких планов осталось?

– Такова уж, как говорится, проза бытия.

– Здание есть, зато за выживание теперь приходится бороться в условиях рынка и масскультуры.

– Тут уж всё от таланта зависит. От того умения, что Корифей, которого ты любишь цитировать, называл: чем удивлять будем? – отозвалась гостья. – Это как искра божья – тайна, которую ни за какие деньги не купишь, либо есть, либо нет... У бабушки твоей, к примеру, был этот дар...

– Да, – согласился Архип Сергеевич, – у бабушки большой талант был. Совершенно необыкновенный...

Бабушка день-деньской на ногах. Как спозаранок начинает с дойки буренки, стряпней продолжит, потом огородом, согнувшись в три погибели, к вечеру только разогнется. Сядет на лавку, больные, гудящие от усталости ступни принимается парить в настое трав – с чередой, зверобоем, колючим татарником... Он, мальчонка, рядом ластится, пристаёт с непостижимой просьбой: ногти, мол, давай подстригу...

Старенькая бабушка смущается, ей шибко неловко от подобного предложения, но отказать не может, поскольку спина плохо гнется, не достать жестких, скрюченных ногтей, которые въелись в пальцы, даже распаренные трудно поддаются уходу...

Он склоняется с ножницами, пыхтит от усердия, высунув язык и больше всего опасаясь, чтобы не поранить неловкостью.

Потом опять пристаёт с ещё более непонятной просьбой, и бабушка после долгих уговоров, после тщетных отнекиваний все же уступает... Она замесит глину, ловко лепит проворными узловатыми пальцами, затем клейстер из муки разведет, оклеивает форму бумажными клочками, красками причудливо размазывает, и выходило что-то диковинное. Финтифлюшки – назвались. Бывало, из соломы возникали, из тряпочных лоскутков потешные фигурки. Мелкая безделица для забавы, но далее начинало происходить удивительное... Бабушка спектакли

принималась разыгрывать, и возникал воочию мир какой-то иной, убедительной правды, где в игрушках оживало что-то важное, настоящее, про которое в текучке жизни среди людей не принято распространяться, точно опасаясь пафоса громкого слова, но сквозь несурзанность житейских нескладух и тьму невежества пробивалась к свету, будто разум-трава, горькая и неутолимая сладость бытия...

Когда война началась, от эвакуации бабушка наотрез отказалась. Перекрестила лишь внука напоследок, благословение дала, точно предчувствовала, что больше не выпадет свидеться. Её, говорят, полицай застрелил, местный, глуповатый парень, пальнул прямо в лицо за едкое слово. Уж это она умела, не в бровь, а в глаз припечатать весомей всякой характеристики.

В эшелоне, мчавшемся в дымах и сиплых выкриках паровоза, была давка, сутолока, неразбериха, тяжело и едко пахло потом, как потеют тела от паники, от захлестнувшего ужаса и бессилия перед неизбежным, перед разверзшейся бездной, куда несла злая судьба, когда неумолимость этого движения, как поступь рока, нельзя было ни приостановить, ни отворотить. И тогда он вырезал из поленца бесноватого фюрера и добродушного верзилу, работника-Балду, что щелкал по лбу хлипкого психопата, тот от щелчка подпрыгивал с выпученными, ошалелыми зенками, и чубчик его потешно дыбился.

Все смеялись заразительно, до слез, хватались за животы, покатывались. И мама смеялась, и сестренка. Потом бомбежка началась, а он чуть замешкался, выронил в толчее вычурную деревянную забаву, и, к счастью, так случилось, что заминка эта, возможно, спасла ему жизнь.

Отброшенный взрывной волной, оглохший, он оказался в глубокой воронке, лежал и, открыв глаза, наблюдал, как вороньей стаей пикировали самолеты с черными крестами на крыльях, опускались так низко, что за стеклом кабины видны были лица пилотов, обрамленные кожаными шлемам, и смешливые глаза их поблескивали от охотничьего азарта и самодовольства. Земля содрогалась в конвульсиях и грохоте, словно разверзлась, вздымаясь рыхлыми комьями вперемежку с кусками покореженного металла, человеческих тел, застилая мглой небосвод, а он лежал на дне глубокой ямы, и какое-то странное спокойствие вдруг на него нахлынуло. Не было ни дрожи, ни унижительного страха, так будто и тела не было, точно чья-то десница прикоснулась прохладной ладонью к воспаленному лбу, и он ощутил, что душа его, несмотря ни на что, жива, и ничто не могло ни умалить эту суть, ни сокрушить...

Состояние это следовало запомнить, так запомнить, чтобы сделать его опорой во всей оставшейся жизни, а он как-то не придал особого значения... Даже стыдно было потом за своё хладнокровие, ибо ни мамы не нашел, ни сестренки. Лишь клетчатый мамин платок висел на ветке поломанной осины, трепетал на ветру. И он дико орал, раздирал грудь безумным воплем, и не слышал звука собственного голоса. Вида потом этих потешных игрушек не выносил...

По стеклу послышался какой-то странный звон – дзень, дзень.

Увлеченный нахлынувшими воспоминаниями, Архип Сергеевич даже вздрогнул от неожиданности. Кто мог барабанить в окно, если квартира на шестом этаже?

Перевел взгляд на гостью, а та с интересом наблюдала за бойкой синицей, что, ухватившись лапками, как акробатка, постукивала клювом по стеклу, будто требовала чего-то с категоричной, в ультимативной форме настойчивостью.

– Фу ты, – шумно отдувался от внезапной оторопи Побратимцев и словно в оправдание пояснил виновато гостье, поднявшись с дивана: – Привадил вот, а теперь, хочешь не хочешь, подавай трапезу.

Он извлек из холодильника завернутый в пакет кусок сала, отрезал ломтик, ловко привязал его к концу суровой нитки, той, что свешивалась с наружной стороны окна, затем опустил синичье лакомство в форточку. Пичуга тут же подлетела, принялась проворно клевать, раскачиваясь на нитке, как воздушная гимнастка.

Гостья сидела, не прикасаясь спиной к креслу, как требует чинный этикет от дам, терпеливо поджидала продолжения в пространном рассказе.

О чем, собственно, повествовать?

Была жизнь, а словно промелькнула вскользь и невпопад в извечных загадываниях лучшего будущего, будто забегая вперед и не живя всерьез, пребывая в извечной тоске и сожалениях о минувших днях, что казались веселей и ярче вялых текущих будней. Состоялось ли что, сбылось ли то, о чем дерзко и яростно мечталось? Да и была ли настоящая дерзость в мечтах?

Послевоенная пора вопреки ожиданиям выдалась не столь уж радужной, усталостью дышала, неподъемной надсадой разлух, нищеты и неурядиц мирного бытия. Похоже, подвиг народного самоотречения истребовал в кровавых бойнях и мясорубках слишком много сил, а радость победы и вовсе опустошила души. Фабрики и заводы по-прежнему, как войдя в раж, чтили святыней план и вал, удушая проявление смекалки и инициативы, крестьяне норовили в город, грезя о паспорте, дарующем право не зависеть от нищей доли трудодней. Безработней всего было бывшим фронтовикам, повально пристрастившимся к боевым «сто грамм», когда море по колено, и хоть трава не расти. Зато витали запреты, боязливые опаски крамольного слова, повсюду вокруг врагов выискивали, а, не найдя, обрушились на космополитов – не приведи из единодушия высунуться, отстраниться от ликующего и немудреного «одобрям-с». Бездарь умело правила балом, распиная с изощренным исступлением инакомыслие то генетиков чихвостили, то литераторов, уклонившихся от коллегиальной партийности и погрязших в гнилом болоте индивидуализма. Напористая ложь становилась как знамя. Как символ свободы. Не от самих ли себя свобода?..

В честных исканиях метался Архип Побратимцев, в поисках правды без лицемерия и фальши, каких только профессий ни перебрал, в чем только себя ни испробовал. На тарной базе стучал молотком, аттракционщиком был при колесе обозрения в парке культуры, кочегарил в бане, в цирке прибирал за гривастым львом, даже помощником часового мастера выпало быть. Занимали разные хитроумные механизмы, а пуще всего чего-то такого хотелось извлечь... Особого. Из собственной души...

Странствовал точно перекаати-поле. Раскованное житье в пику уставам лицемерия представлялось честнее и достойнее. В сырых подвалах по пьяной лавочке спорил с разным сбродом о человеческой сути и, проснувшись от тяжелого похмелья, искренне поражался: поди-ка, жив, горло не перерезано и кишки не выпущены во имя полемического задора.

Чем бы всё это обернулось, куда б привела кривая дорожка вниз по наклонной плоскости, трудно сказать, не повстречай он Клавдии. Судьба, по-видимому, бережет блаженных и недотеп, как в бабушкиных сказках про жизнь финтифлюшек...

С Клавдией они несколько раз познакомились и всякий раз как будто заново. Всё какой-то вздор возникал между ними, разные запальчивые невнятности ссорили, принуждали расставаться с горячностью зарокос.

Но так уж, должно быть, заведено, такой сложился в подлунном мире обычай, если что предписано судьбой, то и на лихом коне семью дорогами не объедешь...

Долго они судьбу на излом проверяли, испытывали на крепость и стойкость пока, смирившись, похоже, не принялись иступленно и жадно целоваться то в глуши переулка, то в темном душном зале набитого битком кинотеатра или в золоченой аллее осеннего парка, укрывшись под зонтом от обрушившегося с гулом ливня.

Клавдия уже отваживалась порой пригласить его в гости, в крохотную комнатушку, тесно уставленную старой громоздкой мебелью, где они жили вдвоем с сестрой. Бывало, кроткий, горестный вздыхатель пространно повествовал про свои сомнения и муки, мямлил что-то путано, занудливо и скучно. Клавдия слушала, склонив голову набок, не перечила, будто пыталась распознать с прозорливостью причину мрачного умствования и неприкаянности, а однажды возьми и скажи без обиняков: «По-моему, нам надо пожениться».

И Клавдия любит вспоминать тот вечер. Как от её бесхитростных слов Архипушка, плечистый, рослый забияка и яростный спорщик, осекся, онемел, а затем, не произнеся ни звука, стал молча падать точно срубленное под корень дерево. На диван повалился, голова безжизненно откинулась, руки как плети, глаза закатились – ни жив ни мертв. Понятно, она жутко перепугалась, принялась звать на помощь сестру, которая прибежала из кухни, перемазанная мукой и тестом, тоже всполошилась не на шутку: «Что случилось?» Клавдия чуть запнулась, но тут же, проявив смекалку, выпалила: «Архип мне предложение сделал». «Уф! – облегченно вздохнула сестра. – Я уж не знала, что и думать... Совет вам да любовь!»

Конечно, это Клавдия так повествует. В её интерпретации изложение фактов. С известными преувеличениями. Просто дар какой-то необузданной фантазии! Повод лишь дай, пусть маломальскую зацепку, как разразится небывалыми гиперболами, метафорами. Правда, при одном условии: ежели про Архипушку пойдет речь... Только затронь животрепещущую, излюбленную тему!..

Он и сам порой от души хохочет, покатывается, оценив по достоинству меткость поддевки, своеобычность вымысла и острого ума, а, насмеявшись, спохватится, го- ловой обескураженно крутит: «Опять у тебя воображение разгулялось. Просто удержу нет!...»

Ничего подобного, разумеется, не было. Ничего похожего, чтобы он без чувств повалился, впад в беспмятную протрацию. Разве что отчасти в некоторую задумчивость погрузился, терзаемый озабоченностью – достоин ли, если гол как сокол, ни кола ни двора, ни приличной профессии, сумеет ли избранницу сделать счастливой? В былые времена так полагалось. Серьёзностью должен был подход отличаться. Не приведи оказаться каким-нибудь вертопрахом или пустозвоном. Нынешней молодежи этого не понять... Зато у Клавдии, похоже, ни тени сомнения не возникало, порешила и точка. Как и с рождением Иннокентия...

Уж как, помнится, извелся Архип Сергеевич, по ночам с боку на бок ворочался – маялся, ко времени ль?.. До детей ли теперь? Пусть разгул холодной войны



поугас, а от ядерных испытаний, что прокатывались грохотом по всей земле, кто может поручиться за последствия? Психоз противостояния двух систем разве завершен? Да и лучше ли наступившая великая эра застоя?..

Но у хрупкой, тоненькой женщины свое необъяснимое понимание и бесстрашие, мол, пустое дело – трусоватые кривотолки разводите. Откуда, дивился, эта непоколебимость? Спросил напрямик, а ответ ещё более подивил: «Я в тебе, – говорит, – уверена. Даже в большей степени, чем в самой себе...»

После всех душевных терзаний, метаний из одной крайности в другую, словно прибил он к пристани. Стал с сыном возиться, принялся мастерить ему разные игрушки. Вычурнее старался сделать затейливые потешки, премудростям в изготовлении которых ещё бабушка обучала, и так случилось, сам не заметил, как это произошло, а будто в нем самом что-то приоткрылось, прорвало внезапно... Тогда он и переступил – на горе-злосчастье или на удачу? – порог кукольного театра...

– Несносный ты человек! – сдержанно возмутилась гостя. – Жену любишь и сына. Души в них не чаешь, а один-одинешенек обитаешь, мыкаешься из угла в угол как неприкаянный.

– Эх, – кряхтел Побратимцев, тяжело отдуваясь под напором столь любимой им, обожаемой правды-матушки. – Это ты того... Через чур круто. Явный перебор!.. Чем-то Клавдию мою напоминаешь. Тоже с манией преувеличений...

Сын Иннокентий уже взрослый человек. Смекалистостью рано стал отца озадачивать. Бывало, соску выронит на приставленный у кровати журнальный столик, рукой не достать, другой бы на его месте в крик, ревмя реветь от отчаянного положения, а этот пеленку из-под себя вытащит, размахивает ею, сопит с упорством, пока не подкатит забаву. Как догадался измыслить способ?

Понятно, распирало от умиления и отцовской гордости, но старался не показывать, не баловать – век выдался строгих нравов, на отчужденный манер. Сынишка, сдаётся, страдал из-за прохладных отношений, но виду старался не показывать – своенравным удался, впрочем, было в кого, весь от отца! – потом свыкся, тоже воздвиг незримую стену отчуждения. Такие вот пироги!..

Школу Кеша закончил не сказать что в похвальных листах, но как-то легко. В институт поступил без особых проблем, с первого захода – с математикой был запанибрата и с сопроматом. А однажды приходит и заявляет как бы невзначай, не выказывая особых фанфар и нажима: «Между прочим, дорогие родители, я жениться намерен».

«Между прочим» жениться, или серьёзное движет намерение?» – грозно вопрошал, одолев секундное замешательство от неожиданного заявления, Архип Сергеевич. «Какая разница! – отмахивался с беспечностью сын. – Там видно будет. Загодя с уверенностью про это разве что-нибудь скажешь?»

Родители, видя столь крутой поворот, руками всплеснули, тактично отговаривали: «В твои-то годы? Отец вон когда смог себе позволить столь ответственный шаг». «Верно, в тридцать семь лет, а какой в том резон? Одного меня лишь и сумели родить, мы же как минимум дюжину собираемся».

Даже Клавдия, питающая склонность к разного рода гиперболам, к необузданным фантазиям, тут всполошилась, замахала руками: «Это вы лишку хватили, через край! Да и не современно. Как себя обделять прелестями жизни. В кабалу

загонять...» «Вовсе нет, – с категоричностью возражал Иннокентий, – в больших семьях, говорят, и счастья больше...»

Справили, в общем, свадьбу, молодым выделили отдельную комнату, благо, к тому времени ветхая их «коммуналка», вспоминаемая впоследствии с некоторой ностальгией за редкостное чувство локтя и доброе участие задержанных бытом жильцов, угодила под снос.

Вскоре внук появился, не заставил себя долго ждать. То-то ж было избытков волнений у новоявленных деда с бабкой, преуспевших в своё время в сдержанности проявлений чувств, а тут, будто самим довелось ещё родить – нянчились, лепетали, держа в руках розовый комочек и млея от восторгов, даже испарина проступала на лбу.

Однако смотрит Архип Сергеевич, с собственным пережитым опытом сопоставляет, как тряслись они над чадом, как пеленки утюгом проглаживали с двух сторон, пусть и мальчик, и правило это вовсе не обязательно для неукоснительного исполнения, зато у молодых совсем иные замашки. Оба в фирменных джинсах, в комнате беспорядок, свалка, суший бедлам – книги, конспекты вперемешку с погремушками; ползунки и распашонки где попало разбросаны. Ещё магнитофон на полную громкость включают, друзей набьется – кишмя кишат, да все с сигаретами, дым коромыслом, хоть топор вешай – а ребенок на полу ползает. Клавдия обычно в таких случаях порывалась взять мальчишку к себе, но Архип Сергеевич строго прищипнул: «Не смей! Они и так живут – в ус не дуют, ничем себя в заботах не обременяют». «Неприятности, – гогочут, – надо переживать по мере их поступления...»

Тут как раз распределение в институте приблизилось. Молодые специалисты в свойственной им бойкой, ухватистой манере справки принялись собирать для свободного трудоустройства – имели право, а Архип Сергеевич взбеленился, как отрезал – ну уж, дудки! Сам отправился на заседание комиссии. «А этих, в джинсах, – кипятился с помпой, – на какой-нибудь важный объект направьте. Откуда есть заявки? Из Рудного? Вот на Соколово-Сарбайский горный комбинат и направьте! Пусть окатыши на пользу стране добывают, с большого дела начинают жизнь, а не уваливают от трудностей».

Скверно, конечно, вышло. Стыдно и вспомнить, какая-то гремучая смесь из фанфарной трескотни и бестолочи, хотя и из благих побуждений. Впрочем, слово-то не воробей, ежели вылетело – не поймать, что толку потом от стыда краснеть и каяться.

Однако если кто по-настоящему поразил, так это наши молодожены. Собрались как-то легко, без натужной раскачки буквально в один момент – подхватили дорожные сумки, раздувшиеся по бокам, да в поезд сели, помахав на прощание рукой с беспечностью: «Ты, наверное, прав, отец. Так будет лучше...»

Это было за год до развала державы. Был единый народнохозяйственный комплекс и вдруг разорвался на части. То, что составляло единый механизм, взаимозависимый производственный цикл, оказалось в разных странах, которые принялись тянуть каждая на себя одеяло. Кому нужны окатыши? Как продашь, как за электрическую энергию расплачиваться? С перебоями стал работать комбинат, а тут и вовсе остановился... Про патриотизм уже как-то и говорить всерьёз не приходилось. У молодых, понятно, проблемы начались... Второго ребенка не удалось сохранить, поскольку медицина тоже оказалась в бедственном положении.

И что особо прискорбно: не будет больше у жены Иннокентия детей, не сбудется его сумасбродная мечта о большом счастье...

А недавно пришла от них какая-то совершенно непостижимая весть – семейный детский дом они открыли. Десять детей взяли на воспитание, поскольку у них есть чувство ответственности и будет о ком проявить заботу... В столь сложное, трудное время, мыслимое ли дело!.. Тут самим неизвестно как выжить, а они ещё такое бремя взвалили на плечи... Правда, комбинат, пишут, опять заработал обещали помогать... «Ну, Клавдия, – только и сумел выдохнуть Архип Сергеевич, – комбинат, конечно, в чем-то окажет содействие, но и нам негоже отставать. Поезжай, тоже чем-нибудь поможешь, хотя бы на первых порах...»

Такая вот вышла история. Как она дальше сложится, загадывать, понятно, не приходится. Тут не знаешь, что завтра будет, так что неблагоприятное это занятие гадать на кофейной гуще или что-нибудь пророчествовать...

В театре сейчас новый главный режиссер. Молодой, взъерошенный, с уймой бредовых идей. Это, конечно, славно, что у театра есть своё здание, своя крыша над головой – храм служения музам, но нужно ещё и выживать, чтобы зритель, отвыкший от настоящего искусства, вернулся... Вот он и предложил Архипу Сергеевичу не только куклы сделать для нового спектакля, но и самому поучаствовать в постановке... Да и для сценария мог бы придумать какие-нибудь занимательные сюжетные ходы исходя из своего богатого жизненного опыта. «Представь, – предлагал юный режиссер как опытный змей-искуситель, – посетила тебя печаль... Пришла такая загадочная, какой-то дивной, совершенно изумительной красоты гостья...»

Побратимцев слушал, головой качал, вроде согласившись с предложенным проектом сразу, без уговоров, но ворчал насупленно по укоренившейся житейской привычке: «Ну, заявится... Допустим, уставится, станет доставать с расспросами, а как разорвет мне сердце...» «А хоть бы и так... – соглашался с острым сюжетным ходом амбициозный в своем новаторском поиске режиссер. – Это ж славно! Как у знаменитого поэта будет: «И тут кончается искусство, и дышит почва и судьба!..»

– Хочешь музыку включу? – спросил Архип Сергеевич притихшую гостью. – Я специальную композицию подготовил. Как говорится: будто предчувствовал твой неизбежный приход.

Он включил музыку, задумчивые аккорды которой словно специально подбирались для подобного случая, поднялся, тряхнув головой, обрамленной седым венчиком, как короной, пригласил гостью на танец, как некогда, блеснув галантностью, приглашал Клавдию покружить под певучую мелодию.

Он сделал шаг, но неожиданно за грудиной у него что-то словно хрустнуло, как порой обрывается натянутая струна.

Архип Сергеевич повалился, захрипел. Разом обмяк, почему-то сразу догадался, что именно произошло, и воспринял это спокойно, без надсады и надрыва, даже не удивился, как будто ожидал. Словно сам нагадал, что только таким образом и мог вдохнуть искру жизни в свою новую работу, иначе все замыслы, дерзания – пустая тщета... Все горести и муки, все бессонные ночи, напряжения через неволегу – ничегошеньки не значат, пока последний штрих не нанесен...

Трескуче зазвонил телефон. Кто бы это мог быть?

Клавдия ль из Рудного, притащив на переговорный пункт детишек, чтобы визгливыми писками скрасили его одиночество?

Или непоседливый режиссер донимал, не терпелось ему узнать, как продвигается работа? Новые куклы, которые придумал и изготовил Волшебных дел мастер, изумительны, просто чудо как хороши, осталось только за малым – за главной героиней. Как она, удалась? Есть ли наметки?..

Он обернулся и увидел грузное тело, распластавшееся посреди комнаты на полу, раскинув беспомощно руки и ноги, и не сразу сообразил, что это, собственно, он и есть. Откуда, непонятно, только разглядывает себя? Из какой точки? Как будто взор направлен из-под потолка. И что особенно удивило, как он умудрялся передвигать этакую махину по земле, то вприпрыжку, то шаркая в усталой поступи извечно сбитыми наискось, стертymi подошвами, и весьма, надобно заметить, немалый, пусть и промелькнувший как одно мгновение, срок...

В комнате, хотя люстра, помнится, из-за ранних декабрьских сумерек была включена, почему-то темно, по углам и вовсе – до густоты чернил, зато центр высвечивался словно ярким пятном софита.

Корифей, невольный свидетель происшествия, лукаво поблескивал стеклышками пенсне, прятал улыбку в бутоне розоватых губ, судя по всему, предвкушал удовольствие от предстоящих неспешных бесед на сокровенную тему о месте искусства в нашей суетной жизни и не скрывал, не помышлял таить своего пылкого интереса к излюбленной вечной теме...

Фигурка, что склонилась над мужчиной, распростершимся в столь неприличной, неловкой позе, была преисполнена тихой, невыразимой печали...

Вопрошающее, чуть удлиненное личико будто выточено из слоновой кости, слегка подправлено выразительной тонкой кисточкой, обмакнутой в капельку акварели, волосы, словно изумрудные водоросли, томно и плавно струятся, переливаются, платье серебристо-дымчатое с матовым сиянием стройного тела, что как перламутр мерцает, не стыдась, как красота гордится, полагая, что спасает мир. Глаза огромные, с поволокой, как у жены, которой первой удалось узнать прескверную весть, а не скажет...

Нет, что и говорить, удалась. Точно удалась. Даже не ожидал от себя. Пожалуй, это лучшая его работа. Молодой режиссер будет доволен.

Смычок разлуки взлетел с небрежной вольностью. Упругий волос, натертый канифолью, ещё не коснулся пронзительных струн, а они напряглись, загудели, исторгнув прихотливые звуки, каких никто ещё не слыхивал, и неведомое приоткрылось.

Будто только сейчас он, наконец, понял то, о чем лишь догадывался, смутно предчувствовал – жизнь не завершается жирной кляксой точки в конце. Не может завершаться, иначе заблуждения, ложь, недомыслия, косность невежества оказались бы всех истин сноровистей и неодоливей, и несбыточному не состояться с его медлительным разворотом крыл.

Легко вдруг стало.

Необычно легко и беспечно. Как бывает, когда долг честно исполнен до конца, и не так уж важно, какой меркой будут оцениваться труды. Вернее, прежде всегда было важно, порой даже казалось – превыше всего, а теперь это вдруг уже не имело никакого значения. Просто исполнил, что мог, и всё тут.

И все тяготы, мытарства, бессонные ночи, долгие тернистые тропы блужданий, муки сомнений, все черные полосы затмений, неверия, безысходного отчаяния покажутся не такими уж напрасными. По крайней мере, именно в это мгновение

покажутся не такими напрасными, а дальше всё ровным счетом не имело значения, и не хотелось возвращаться.

Печаль нужна живым, чтобы беречь огрубевшие сердца, теснить в них зверя для извечного человеческого предназначения – любви и добра...

## ОБЕЗЬЯНКА В ПОДАРОК, ИЛИ СЛЕД ЧЕЛОВЕКА, НЕ СМЫВАЕМЫЙ ЛИВНЯМИ

Профессор сел на кучу опавшей листвы, что сгребалась, сносились большими картонными коробками со всего нашего просторного двора.

Вьюга метлы пасмурного дворника сбила всё воедино: осеннюю красу березы и дуба, роскошное убранство тополей и клёнов. Резные, причудливые в своей разноликости листья, вобравшие краски рассветов, предчувствия кроваво-багряных закатов, с изощренностью линий, с сетью прожилок, с финифтью пластин в радужных вкраплениях и проединах, возвышались пестрым холмом. Была жизнь в ветвях высокого поднебесья, сопровождаемая галдежом и свистом птичьих стай, тихими пирами перламутровых гусениц, фиолетовых жуков, букашек, зрелым счастьем лета, – остался хлам, поминки, очей очарованье. Рукотворная громада пламенела яростно пышным многоцветьем, будто кем-то подсвечиваемая изнутри с тайным умыслом – подзадоривала пыл воображения, будоражила запретно и сладостно...

– А теперь засыпай меня, – произнес он и лег.

Так произнес он и лег, и беспечное сердце чуть дрогнуло, точно ощутив отдаленный ропот и гул. И лег он, повинувшись пиршеству замысла, прилежные ладошки-лодочки протянул вдоль узкого тела, а лицо сделалось неземным, отрешенным, словно ответ предстоящего, которого никому не доводилось узреть на всем протяжении утомительных столетий, отбрасывал изломанную тень...

Когда это было?

Когда?

За какими далями, подернутыми волглой ватой туманов или слюдяными иглами колючей изморози?

За какими солнцеворотами, то с шумом южных снегопадов, обрушивающихся в хлопьях плетёных кружев и перехватывающих обвалом дыхание, то в оголтелой говорильне ливней захлеб?..

Гудят водосточные трубы, изрыгивают восторги небесных хлябей, отвесные струи, словно стеклянные, хлещут вразнобой и наотмашь, железо кровли дрожит от барабанной дробы, и почва стонет под корнями вековых деревьев, лужи вздуваются пузырями, мутные потоки клокочат в кипении водоворотов, унося городской сор, копать, лузгу, неопрятности.

Очистившийся, промытый город замирает с избытком души и робкой улыбкой прощения. И тогда прихоть случая подарит везение, осознанное, по обыкновению, как всё лучшее по прошествии лет. Удача улыбнется увидеть то, что не выветрится бестолково с годами, будет возникать в памяти не просто как блажь или праздность, но мучить неразрешимой загадкой и спасать, не требуя наград, в трудную минуту раздвоенный, утрат и отчаяния, в тупики которого вгоняют маята и терзания без веры...

С холщовой сумкой через плечо, в огромном средневековом берете, в форме которого словоохотливые зеваки находили сходство с неопознанным летающим объектом, бредет человек со странностями, погружен в собственные думы, в изломы и кружения образов. Лицо испещрено глубокими морщинами, а ясность глаз, почти детских, поднятых от земли внезапно, ошеломит при встрече. Вздрогнешь, и что-то случится, и не поймешь, что именно, как случается выбор помимо рассудка и воли...

Хранитель древностей на страницах книг своих оставил свидетельство, которое позволяет избежать кривотолков. С лукавством мудрого он представлял потомков – нас или тех, кто будет через тысячу лет – как они станут выдумывать, приписывать земным и грешным предшественникам, непонятым злым веком-лиходеем, необыкновенные суждения, трагидийность, чувство истории, провидение. Воздавая должное за стойкость и мужество в выпавшей нелегкой судьбе, благодарные потомки увековечат имена непризнанных творцов в названиях улиц, которыми они когда-то ходили, воздвигнут памятники.

Хранитель древностей ничуть не сомневался, что именно так все случится, предоставлял доверительную подсказку, и уста обладателя вычурных одежд объясняли доступно побуждение: «Вот, представь-ка, из глубин вселенной смотрят миллионы глаз, и что они видят? Ползет и ползет по земле какая-то скучная одноцветная масса, и вдруг как выстрел – яркое красочное пятно! Это я вышел на улицу...»

В широких разрисованных штанах, сшитых из мешковины грубыми стежками, в свободной разлётке, не стесняющей движений, уверенный в раскованном ощущении таланта и силы – Гений первого ранга, как сам себе давал аттестацию в черновиках проектов – он, тщедушный старик в седых космах, бредет по городу, опрокинутому кистью с любовью и нежностью на холсты, взглянув на которые у всякого от вольных сочинений красок и линий возникает головокружение, как от одуряющей феерии...

Он бредет по городу. Влажный воздух насыщен крамолой грома, нервными всполохами молний, вода в пологих арыках, наполненных до краев, клопочет в стремительном беге, блестит листва дождевыми каплями, а маленькие колокольчики, пришитые по низу разлётки, серебристо позванивают. О чем? Защитят ли от усмешек прохожих, от доблести их язвительных взглядов? Сколь незатруднительно под пристальным взором вселенной осознать, что восхождение духа и есть изначальная суть человеческого предназначения, а легко ль с этой ношей жить?

Шаги буднично, неспешно, на деле обретая в шарканье стертых подошв поступь легенды, приближаются к перекрестку, к скрещению дорог, где приятель его, сухопарый, долговязый, горделиво-неопрятный, как кондор, слетевший с отвесных скал заоблачных высей, застыл в сосредоточенном разглядывании мостовой. Кургузый пиджачок застегнут не на ту пуговицу, на голове шапка нахлобучена, мало, что не по сезону, да ещё задом наперед. Он наклонился, уставился зорким, пытливым оком на темно-серую брусчатку – в те времена это была, пожалуй, единственная мостовая в городе, неподалеку от главпочтамта, устроенная столь примечательным образом.

– Вот тут он стоял, – покажет глазами место Хранитель древностей.

Приблизившийся художник тоже уставится, разглядывая граненые камни мостовой и слушая беглый пересказ горькой повести:

– Он был в галошах и без ботинок. Он был в растерянности: готовился к смерти, а его по непонятной причине выпустили из-под следствия. Аграрный бог, почитаемый недругами и даже друзьями, он был движим чаянием – несбыточным, поди, как всякая заветная мечта! – накормить великую страну, пухнувшую от голода. Вся вина Чаятеля в том, считай, и состояла: в щедрых хлебах, протянутых великодушно. Понятно, подумалось, что органы, разобравшись – никакой он не враг народа, не кулацкий прихвостень! – отпустили за отсутствием, как говорится, состава преступления... А знакомец, который повстречал бога, шагавшего в галошах на босую ногу, почему-то опешил, поразился, как невидали. Так уж в пору свинцовых мерзостей, именуемых годами репрессий, было заведено прощаться со всяким навек, заслышав про ночной визит «черного воронка»... Он спохватился, одолев растерянность, догадливо вывернул карманы, протянул с сочувствием денег, какие скудно водились, и Аграрный бог, краснея, взял... В конце концов наука его завоюет планету обаянием дерзкого предположения, что лишь раскрепощенная энергия работника плуга способствует плодородию, приумножению земных богатств, бесспорной победе над унижительным существованием впроголодь. Правда, творца смелой догадки, выпущенного по какой-то оплошности или недопониманию, через некоторое время вновь арестовали и вскоре расстреляли в нашей городской тюрьме... Известное дело, террор, происки режима, истолковавшего превратно светлые идеи... А может, всё прозаичней и куда печальней... Когда диктатура на непререкаемость истины именуется строем, когда право отстаивать собственное мнение почитается «факультетом ненужных вещей», то не счесть ревностных слуг, жаждущих отличиться, преуспеть в карьере...

– Ну, что же ты? – говорит нетерпеливо профессор, лежа на куче сметенных со всего двора листьев, а я медлю с пламенеющей охапкой. Когда станет возможным воскрешение – реконструкция! – в мир иной отлетевших душ, пусть меня оживят в это мгновение, ибо, похоже, никогда – ни прежде, ни во всей оставшейся жизни – я не был, по-видимому, столь близок к разгадке бессмертия...

Я сгребал резную, разноцветную листву в груды, острый запах щекотал ноздри, терпкий привкус увядания першил в горле. Узорчатые веера устилали грудь, сыпались на стойкую, непреклонную в осенившем замысле физиономию профессора...

Конечно, в ту пору его так никто не называл.

Это ни в воздухе не носилось, ни даже в самых злых подковырках не проскальзывало с ехидцей пророчества. Но теперь, спустя много лет, мне уже как-то неловко называть его иначе...

Я сыпал усердные вороха, огненный холм разрастался, скрывал в недрах профессора. С какой стати его осенила эта сумасбродная идея, теперь я уж точно и не припомню, быть может, просто захотелось побывать внутри роскошной кучи. Но тут совершенно некстати подошла его мама, спросила озабоченно:

– Дружка своего не видел? Куда он мог запропасться? Как сквозь землю провалился...

Я опустил голову в смутном предчувствии очередной выволочки.

Я не мог врать. Это прозвучит неправдоподобно, но какая бы кара ни грозила расплатой, в годы нашего беспутного детства враньё почиталось самой позорной чертой, гнусной слабостью. Мы возрастали в тирании запретов, власти привычки и

затверженных догм, а невосприимчивость к чужому мнению была как долг чести. Всякая затея, всякий осенивший пустяк, к удивлению, находили упорное непонимание взрослых, встречались буквально в штыки, либо отметались с порога в самой непререкаемой, категоричной форме. Неужели, думалось с тошнотой от вращения, и мы когда-нибудь станем такими? «Ты это здорово придумал», – порой восхищался я смекалкой профессора, а он неизменно мрачнел, понуро хмурился: «Ум смущается во мне, робеет, когда давляют... Ну-у... С позиции силы».

Впрочем, мысль профессора пусть порой смущалась, робела, но обладала каким-то поразительным свойством упорствовать на своем даже в той безнадежной ситуации, грозящей поркой широким кожаным ремнем и стоянием в углу...

– Он там, – показал я на воздвигнутую мной кучу.

– Как это? – не поняла в расстройстве женщина, и зрачки её глаз заметно расширились. – Что он там делает? – Но тут же, спохватившись, сколь несуразно прозвучал вопрос, обратилась к куче: – Ты что там делаешь?

– Лежу, – донеслось приглушенно.

– Ой, – слабо застонала мама профессора, чуть приметно покачнувшись. – Каждый день что-нибудь да вытворите, то переломаете, то испортите вдрызг. Вчера папину пишущую машинку разобрали, усовершенствовать, оказывается, вознамерились...

Заметии, – сам я недавно узнал по чистой случайности, – принцип того усовершенствования оказался весьма близок к пишущей машинке, изобретенной отцом космонавтики Циолковским. Той самой, что, несмотря на очевидную выгоду и простоту конструктивного решения, так и не нашла применения. Сколь прискорбна участь великих, но неостребованных открытий!..

– А нынче электрическая плитка на кухне трещит как обезумевший пулемет. Соль им, видите ли, взбрело выпаривать!

– Не соль, – уточнил я. – Воду из соляного раствора. Нам бабушка решила.

– Бабушка и подумать не могла, что вы ей плитку испоганите.

– Зато, знаете, какая в той консервной банке необыкновенная картина была. Просто восхитительная. Из белых кристаллов!..

– Вот я сейчас покажу «восхитительную картину». С наглядностью продемонстрирую. И восхитительно будет, и брависсимо. А ну, вылезай немедленно.

Куча листьев зашевелилась, в серой пудре пыли показалось унылое лицо профессора, и мама его ужаснулась, всплеснув руками:

– В такую грязь залез! Ты только посмотри на себя... На кого похож? А нам ведь сейчас в театр идти...

Грозные крики подкреплялись порывистым вытаскиванием из высокой лиственной груды. Раздражение попутно щедро сдабривалось размашистыми шлепками пониже спины, и в лад им хрупкое профессорское тело раскачивалось, словно невесомое, оказавшись во власти житейской деспотии, которой нечего возразить и противопоставить, кроме стойкости и кроткого терпения, отчего тонкие губы были настырно, плотно сжаты, ни один бессмысленный звук не исторгся жалким, позорным воплем рева. В самом деле, он как-то упустил из виду, что куплены билеты в театр, и не подумал вовсе, что в куче листьев, сметенных со всего двора, будет так пыльно...



Потом бабушка и мама поспешно отмывали его, окатывали жаркой волной хлопот, причесывали гребнем, облачили в новый шерстяной костюмчик, который, надо заметить, пришелся по вкусу своенравному профессору.

Чего, однако, нельзя было сказать про новые туфли. Тупоносые, с петелькой застежки, они, помимо того, что до боли тесно сдавливали ступни, да ещё были похожи на девчачьи. В свойственной уклончивой манере он выразил пожелание обуть старые ботинки, хотя носки у них сбиты, и бока поистерлись, зато удобные мягкие. Но витиеватая мольба осталась без внимания, что само по себе было досадно. Спешка, торопливость всегда ходят неразлучно под руку с бестолковщиной...

К началу спектакля они опоздали. Впопыхах пропустили по широкой лестнице, бабушка в красивом темно-бордовом платье, мама в своем любимом строгом костюме для торжественных случаев, на ходу с укоризной выговаривали в сердцах:

– Всё из-за твоей несносной кучи!..

Сворачивали в длинные коридоры, где в мягком ворсе ковровой дорожки тонул приглушенный топот ног, и заблудились. Какую дверь ни приоткроют, то длинноногие балерины шуршат накрахмаленными юбочками, то красноносый мужчина зычно рывкнет. Наконец выбрались на балкон под сводами высокого потолка, внизу, в теснине сумеречного зала, доносилось напряженное, с вкрадчивыми покашливаниями дыхание зрителей, а далеко на сцене происходило что-то красочное, бравурное. Спектакль назывался «Бахчисарайский фонтан», хотя, какой смысл вкладывался в это затейливое заглавие, никак нельзя было понять.

К слову сказать, сколь скудно довелось в нашем обездоленном детстве книг, но многие и многие страницы Пушкина мы знали наизусть. Кудрявый лицеист, забияка, ушлый проказник был как бы и нашим товарищем. «Пока свободой горим, пока сердца для чести живы, мой друг, Отчизне посвятим...» Да, для кого-то, быть может, души прекрасные порывы – пустой звук, славословие, режущее слух, но для нас это вошло в плоть и кровь, не рассуждая, без принуждения, став необходимостью.

Тем обиднее, что спектакль стойко не нравился. Помпезность лицедейства вызывала упорное неприятие, точно приторный морс. Чопорные дамы в грузных, пышных платьях и мужчины в богатых кафтанах с разлетающимися полами вытанцовывали с манерными ужимками краковяк и полонез, потом прибежали какие-то лысые в атласных шароварах с кривыми саблями, началась битва, резня, извечное, опротивевшее до колик в печенках поправление...

На балконе было тесно и душно. Что-то раздражало профессора, а боль от стертых мозолей в тесных туфлях не давала возможности сосредоточиться... Доколе в подлунном мире будут править ожесточение, надругательство, злоба, а любовь-добро без кулаков и кинжала неизменно оказываться в роли плакальщицы? Неужто вовек не дано иссушиться, иссякнуть фонтанам слёз?..

Возвращаясь из театра, мама и бабушка, раскрасневшиеся от духоты и чужих страстей, возбужденно обсуждали спектакль, а молчаливый профессор вышагивал насупленный, отстраненный, из-за сбитых мозолей едва переставлял ноги.

Дома, пока женщины занялись приготовлением ужина, он незаметно выскользнул на балкон, извлек припрятанное лезвие бритвы и, захлебываясь от необъяснимой ярости, принялся вспарывать швы ненавистной туфли. Рассек пополам, отодрал подошву, а в довершение всего остервенело полоснул по тупо-

му носку, поблескивающему новенькой краской, резким, мстительным взмахом крест-накрест. И тут только спохватился, остолбенел. Новая вещь, купленная накануне в магазине, оказалась совершенно испорченной, искромсана, изуродована, зачем?

Профессор принялся прятать злополучную жертву в груде старого барахла, однако с того дня потерял покой и сон. Как убийцу тянет на место кровавого преступления, он то и дело возвращался, перепрыгивал изувеченную туфлю, но это не приносило облегчения. Угнетала возможность разоблачения, страшила расплата, а ещё более внушала отвращение бессмыслица случившегося. Легко выйти за грань допустимого, и нет уже возврата, казнь, распекай себя на чем свет стоит, да что проку?

Однажды мать недоуменно спросила, куда могла подеваться новая туфля, одна, мол, на месте, а другой – след простыл. Она посмотрела подозрительно, и взгляд этот, догадливый, проницательный, был как ожог. Пришлось что-то торопливо соврать, и ложь, столь ненавистная, мерзкая, легла на сердце тяжким грузом... Как жаждет юная душа возвышений, как грезит дерзким подвигом, бескорыстным стремлением приумножить богатства не для себя, а вместо этого – жалкий, позорный путь...

Нет, уж коль так случилось, бесполезно искать утешения в заметании преступных следов – чего проще, казалось бы, взять да бросить улику в мусорный ящик! – но куда важнее извлечь урок, разрубив узел проблем честным признанием, без снисхождения, без прикрас и утайки, только где взять решимости для благого пожелания?..

Тут из командировки приехал отец, и вечером, когда вся семья, взволнованная встречей, в приподнятом настроении, собралась за столом, профессор, свесив повинную голову, вошел в комнату, неся изуродованную туфлю – никто не неволил, не принуждал к столь отчаянному поступку, он сам так решил. От неожиданности возникла неловкая, гнетущая тишина, в которой сердце стучало гулко и безнадежно, будто падало в бездну.

Мать хотела накричать сгоряча, напуститься, но отец мягким движением остановил её.

– Я больше так никогда не буду, – проронил бесхитростно профессор, но с твердостью, ибо любое, самое суровое наказание уже было ничто по сравнению с тем, что удалось в себе превозмочь.

– Что не будешь? – строго спросила мать, которую невозможно было провести какой-нибудь уловкой.

– Ни делать так, ни врать, – произнес он против воли чуть торжественно, будто давал зарок. И ещё, поразмыслив, добавил: – Во всей своей жизни!..

Я смотрю на профессора, во взгляде его мелькнет незнакомая усталость, непривычно видеть посеребренные виски, а густые усы, где, по обыкновению, пряталась застенчивая, чуть ироничная ухмылка, будто прихвачены инеем...

Как-то майский обрушившийся ливень загнал нас в книжный магазин, где было сумрачно, присутствие на полках в бесчисленном множестве толстых фолиантов в позолоте тиснений внушало почтение даже шумливым, нескладным подросткам. Притихшие, мы проследовали вдоль стеллажей, и тут пришлось забыть про мокрые одежды и зябкие мурашки, сулящие простуду.

Разложив на прилавке огромный альбом, старик в причудливых одеждах с маленькими колокольчиками, пришитыми по низу разлетайки, в расписных штанах и с большой холщовой сумой, неторопливо переворачивал лист за листом, рассматривая красочные репродукции на лощеной бумаге.

Мы осторожно приблизились, стали вытягивать шеи, заглядывая ему через плечо, а он обернулся и без обиняков принялся охотно пояснять, мол, это репродукции с творений его кисти. Половецкий стан, юрты... В багровых складках походного шатра, как в проеме раздвинутого занавеса, виднелось лимонное пятно взбудораженной ковыльной степи, похожей на отражение мятущегося неба, по которому, судя по всему, в вихрях и клоках рваных туч неслась гулкая тревога...

– Здорово! – выдохнули мы искренне и не удержались блеснуть осведомленностью: – Это «Князь Игорь». Опера Бородина.

Гений Первого Ранга кивнул благосклонно, а въедливый профессор не утерпел задать давно терзавший мучительный вопрос:

– Говорят, вы ещё необыкновенные картины пишете, отчего их на выставках нет?

Он усмехнулся, произнес глуховато, без высокомерия:

– Видите ли, кое-кто полагает, что они не будут понятны неподготовленному зрителю, и это, конечно, несерьёзно. Даже глупо, в конце-то концов. Человек сам обязан себя усовершенствовать. И мысль свою, и сердце, и зрение...

Два парня с массивными подбородками и широкими плечами оттеснили нас небрежно локтем, ввязли нахраписто, с развязной бесцеремонностью в разговор:

– А может, всё это мазня, папаша? Вывих в голове, придурь, и нечего лапшу вешать лопухим.

Что-то явно вызывало у них раздражение, то же, наверное, что и у злых детей, которые, говорят, порой швыряли в художника камнями. Высокопарный ли слог бесил в устах обреченной на загнивание интеллигенции, непривычность одежд или негласная слава творца, не признанного властями, не увенчанного никакими регалиями и званиями?

Чудаковатый, как будто не от мира сего, художник, настроенный благожелательно, радостно обернулся, хотел, должно быть, поделиться чем-то сокровенным и важным, но осекся, лишь мельком взглянув на наглые рожи, захлопнул альбом, оставленный на прилавке, направился к выходу, бубня беззлбно, точно в пространство:

– Слепые ведут слепцов, множа тьму невежд... – И ещё добавил, обронив без надменности, явно сожалея: – Кому это нужно? Какого рожна? Да потеря культуры очень быстро может обернуться для страны полной практической отсталостью...

Шел он, привычно затосковав не по собственной униженной жизни и невостребованности гениального дара, а от предчувствия непоправимости. Ни угроз, ни злорадств, ни проклятий не слетело с бескровных, иссохших губ, будто знал он заведомо наперед путь унижений, что предстоял постыдно Отчизне. Сколько горя, бед удалось бы избежать, отвратить от безвинных, когда б кто прислушался к тем простым словам. Простым и пророческим...

Небесная лазурь принималась проступать в разрывах торопливых туч, далекие ели на горных склонах выглядели темно-синими, с резкой четкостью, точно навешен был бинокль, хлопотливая вода возбужденно клокотала в арывах, а в груди что-то ныло обостренно, неотвязно.

Шаркали об асфальт стоптанные подошвы непризнанного Гения Первого Ранга, и мышцы вдруг обмякли, когда неминуемого невозможно отвратить... Употребив во зло, растратив огонь жизненных сил на подлог и подлость, что воздвигнут победители? Доколе пышным цветом будет цвести горделивое презрение к уму и таланту? Какое будущее ожидать, приучась работать локтями и не стыдиться наглости в жестяном блеске глаз?..

Следом брели мы, сбитые с толку. Что-то не укладывалось в голове... Искусной рукой до изнеможения он расписывал полотнища декораций, а из-за скудной зарплаты брал в театральном гардеробе вещи поносить: средневековый берет или рыцарский плащ, шокирующие обывателей и ортодоксов, зато выгода, хитроумный способ экономии! Но денег всё равно не хватало на кисти, краски, на холсты – писал без чванств на клеенке, на географических картах и на картоне, а то и с двух сторон. Несть числа дерзновенным, фантазмагорическим шедеврам, коих поныне томит равнодушная пыль музейных запасников. Способные удивить мир, украсить, они утаиваются от глаз, не оттого ли, что в причудливых фантазиях красок замысел жизни очевиден и зрим?..

При жизни он так и не удостоился чести ни одной персональной выставки. Одинокий, истерзанный придирками, непониманием, но не изверившийся в силе своего безумного, безудержного таланта, он скончался в дурдоме... Говорят, от двухстороннего воспаления легких...

Эти праведники, изгои, что они хотели доказать изломанными судьбами? В чем упорствовали? Каких незримых граней упрямцы неумоимо искали, чем не могли поступиться? Себе ль славы-процветания желали, стране ль?

Или при всех бедах, напастях, бросающихся в глаза, были просто счастливыми людьми, ибо знали путь... Путь достоинства, что прочерчен восхождением человеческого духа, когда иного не дано, и ничто не страшно – ни социализм с «нечеловеческим лицом», ни надвигающееся мурло глобализма, с простецкой развязностью полагающего, что всё определяет спрос и предложение...

Так обескураженная наша компания, состоявшая из Гения Первого Ранга и двух страдавших без вздоха подростков, плетется, не снискав славы ни в пикировках ума, ни в бравадах мускулатуры, по улицам города после отшумевшей грозы...

А на перекрестке, на скрещении дорог Хранитель древностей разглядывал напряженно омытую ливнем брусчатку... Он ещё не памятник, кургузый пиджачок застегнут не на ту пуговицу, на голове шапка нахлобучена, мало, что не по сезону, да ещё задом наперед, ибо случайный рассказ очевидца потряс, привел сюда...

Памятником он станет потом.

Когда подробности жизни Хранителя древностей, передаваемые из уст в уста бестолковой, восторженной молвой, обрастая потрясающими диковинами, чудовищными несоответствиями, станут восприниматься легендой, то гореть от стыда, испытывать чувство вины за несовершенный грех будут грядущие мальчишки, обнаруживая с дотошностью следопытов что-то невообразимое в подсчетах... Четверть века в общей сложности у писателя – вместо поиска нужных миру слов! – заняли сроки: ссылки, каторги, именуемые изошренно и ласково лагерями.

За что? За какие провинности?

За листок с незрелым суждением, найденный у вихрастого первокурсника в общежитии под матрасом? Особой крамолы в записке не было – просто по мнению властей не полагалось так думать и всё тут, даже во внимание не принималось, что суждение, к тому же, не ему принадлежало? Или из-за напраслины ясноглазой знакомой, обвинившей в угоду туманным намекам следователя словоохотливого приятеля в космополитизме? Впрочем, если и космополит, то разве это основание для обвинения в измене Родине? Кто не с нами, тот против нас – иных ценностей не дано? Она и поныне, кстати, жива, частенько выступает в печати со статьями на темы морали и нравственности – властительница дум! – казнится ль за промашки молодости или списывает на время?

В это трудно поверить: не грабил, не убивал, а четверть века «оттрубил» в неволе ни за что ни про что... Распаленная в державе классовая борьба помутила ль ожесточением здравый рассудок, или великая идея, став как мания, оказалась истолкована превратно, в меру отпущенного, когда дорожить нечем? Ничто не свято! Всё можно порушить, глумливо исковеркать, упиваясь доступностью власти? Как неумолимо и легко смыкаются мудрые вожди и подонки в преследованиях инакомыслия, отличительных черт с искренним обожанием серых масс. До чего знакомо: у всех нормальные одежды – пиджак, брюки, а этот с седыми патлами нацепил черт-те что да ещё с колокольчиками... Как мало нужно ненасытной толпе – хлеба и зрелищ! – как много, несоизмеримо много одному человеку...

Среди ночи ходил ходуном шаткий коридор коммунального ковчега, именуемого в городе почему-то «Четвертой гостиницей», что в те годы давала приют литературным изгоям, музыкантам, актерам и прочим гонимым судьбой служителям муз. Тусклая, засиженная мухами лампочка мигала в мутной дрожи, от заламывания рук трещала по швам рубашка на том, кому предстояла дальняя дорога и новый долгий срок «отсидки» – и это уже после победной войны, когда о репрессиях, казалось, не приходилось и помышлять? – а сдавленный, хриплый выкрик собирателя слов, отсеивавшего в неусыпных бдениях зерна от плевел, не возмущения пуще всего был преисполнен – непонятливости: «Не мешайте мне работать...»

В ответ самодовольный оскал ретивых стражей закона восходил торжеством истинного понимания – что есть настоящая работа! Это тебе не перышком, поди, по бумаге водить...

О, кабы ведали те, в галифе, что каторга сочинительства порой бывает ничуть не слаще всех выпавших в купе бед-испытаний!..

За колючей лагерьной проволокой Хранитель древностей стал энциклопедистом, ибо, что и говорить, пофартило с профессурой из числа сокашников, отбывавших срок. Учителя оказались как на подбор – мировые имена! В короткие роздыхи от кайла и лопаты они обучали, к примеру, латыни да столь успешно, что впоследствии писал матери письма в изяществах древнего слога, непонятного надзирательскому оку... Пусть жребий не выпал космополиту бывать за бугром, зато уровень эрудиции оказался таков, что чопорной Англией был признан не просто знатоком её традиций и уклада – духа. Круг познаний был весьма обширен: от древней истории до изошренных тонкостей этикета...

Вообще-то, он отличался непритязательностью. Сомнениями был терзаем и хворями, писал стихи, которые не печатал – читал только друзьям, страдал не на

виду, и снисходительными взглядами преуспевающих литераторов провожался в коридорах редакций за поношенное пальто...

Последний роман, истребовавший остаток дней в добровольном заточении за письменным столом, отвергнутый отечественными издателями, был выпущен в свет в Париже. Лишь спустя десять лет под фанфары и умильности бывших преследователей, книга начала триумфальное шествие по просторам любимой Отчизны. Впрочем, милостивая судьба, будто в пику завистникам, подарила совершенно неправдоподобный счастливый конец, достойный вымысла романиста, и перед тем как упасть на кафельный пол в ванной комнате, схватившись за сердце, он держал в руках тот пухлый том, пахнувший коленкором и свежей типографской краской...

Он сам себе придумал памятник – навеки стал Хранителем древности, какой, несмотря на все катаклизмы, революции, реформы, переделы форм собственности, является распинаемая, но неистребимая, неотвязная совесть...

Два пожилых человека стояли и разглядывали задумчиво омытую ливнем брусчатку. Разговор для постороннего уха был мало понятен не столько из-за уклончивых фраз или немоты многоточия – страх не смущал их и в худшие времена, в ту же пору воздух оттепели первым обманчивым дуновением будоражил кровь. Они и сами не знали многого, не могли знать, но о чём-то определенно догадывались. Вольная игра сочувствий воспламенит воображение, разбередит душу, и, легкая, она восходит, чтобы с высоты иных измерений узреть мир...

Недаром Аграрный бог, о котором шел разговор, придавал такое значение искусству, обостряющему одну из странных способностей человека: сопереживать чужую радость и боль. Когда преподавал в сельскохозяйственной академии, он воевал на собственные деньги студентов в картинные галереи, на выставки. Писал всякого рода фантазии в прозе, печатал их под псевдонимом за личные сбережения, пусть мизерным тиражом и на скверной бумаге – пока власти позволяли подобную блажь самовыражения.

Между прочим, одной из этих книжек суждено было сыграть совершенно необычную роль. Она случайно попала в руки молодому сатирику, и тот, рассказывают, был буквально потрясен, как пророчеством: уж так что-то соотносилось с героем повествования, наделенным такой же, как у него, фамилией. Произошло разительное преображение: в одночасье умер веселый старательный литератор, и родился Мастер. Тот, который воспевает Маргариту. «Рукописи не горят», – изречет он веще и всех поразит. Сатирику, согласитесь, вряд ли подобное взбрело бы в голову...

Это, к слову. О некоторых особенностях иного измерения.

С тех недоступных, астральных высей было видно, как река времени бурлит на перекатах, поблескивает серебристой рябью будущего за поворотом, и прошлое сочится, будто родник, дающий исток, из-под обломков запальчиво порушенного, а любовь-добро неизбежно и праведно обречена побеждать, хотя удостовериться в этой справедливости зачастую недостает одной человеческой жизни...

Сквозь толстые стены городской тюрьмы и глыбу лет пытливый взор отметит, как освобожденного по недоразумению или по оплошности Чаятеля вновь определяют на уготованное высоким жребием место. Избивали почему-то ещё злее, ожесточенней, кричали в ухо – что хотели, чтобы услышал? С каким предначертанием генеральной линии должен был согласиться? Любую бумажку, даже

гнусный пасквиль на самого себя мог и так подмахнуть, что это меняло? Решало проблему голода? Приумножило бы благосостояние державы? Или пуля, посланная умело в затылок, оказалась веским доводом в извечных спорах о наиболее оптимальных способах хозяйствования на земле? Торжеством ли истины стало глумление над слабым телом, брошенным на окраине предместий, в буерак? Нынче там огороды, на рачительных грядках рдеют помидоры – не от стыда ли? – редиска наливается пунцовой краской ланит, а мятежный дух творца давно пленил планету, облетев её вокруг.

Робея, мы переминались с ноги на ногу, силились рассмотреть на брусчатке след человека, не смываемый ливнями. Неизъяснимый восторг полыхал в наших зрачках, не гас, делая взрослыми...

А нынешним летом, раздирая воем сирены расплавленный зной, по этой улице мчалась «Скорая помощь», и голова профессора безвольно качалась на носилках, точно прослеживая на пути все кочки и вмятины. Узел галстука был ослаблен, приспущен, рука откинута в вялом неопределенном мановении.

Он увидел башню главпочтамта, огромный циферблат часов, огромные стрелки, будто под увеличительным стеклом, и что-то перевернулось, потекло во времени как-то иначе, по-другому...

Профессор увидел в матовом сиянии брусчатку и сам про себя удивился – как такое могло случиться, если давным-давно тут укатан асфальт в несколько толстых слоев песка и гравия, пропитанных черной смолой?

Он будто вывалился на ходу в распахнутую дверцу машины, и лоб, раскаленный от жары, от несносной, тупой боли, соприкоснулся желанно с прохладой граненого камня.

Стало тихо, не шелестели шины, не взвизгивали рессоры, мотор, захлебнувшись едким чадом, будто последней затяжкой, перестал тарыхтеть...

И два силуэта, преисполненные иных забот, удалялись, пряча тревогу, за пелену тумана, а блеклые одежды в каком-то странном оптическом обмане становились ярче и ярче. Мерные колокольчики негромко позванивали, словно сопровождая уход мастерства, спокойных изяществ, что вставляли на защиту человеческого достоинства, и распадалась связь времен. Как будто провода высокого напряжения, сорванные ураганом, упали на мостовую, ослепляя снопами фиолетовых искр. Кто их поднимет, какой безумец подползет и, сраженный замертво, стиснет зубами разомкнутые концы, испытав в смертельной агонии пронесшийся вихрем сквозь сердце, будто божественный ветер, лучший удел?

О, прильни, как к матери, раскинув для объятий руки, устало припади, грешный, для покаяния, уступив в душе своей место состраданию этой горемычной тверди, на которой довелось родиться, на которой стоял и жил, а натруженные, в мозолях руки всё не дошли прибрать, обустроить кормилицу. Эти тусклые города, задыхающиеся от удушья и извечных нехваток, эта убогость хат по всеям, где кабала и крепостничество никак не завершатся, вина в недородах непогоды. И веет разором – мужчины не жаждут славы и подвига, женщин до срока старит быт, и стариков не греет лучезарное «потом», а на детей обратилась худшая обездоленность – опустошение сердец. Кто спасет их, кто отвратит от черты над бездной, за которой излучина не блестит, камыш не колышется в задумчивом шорохе, и рысь не таится, сверкнув огнем рыжего ока?..

Удар хватил профессора прямо на совещании, где среди бурных дебатов, запальчивых мнений, схлестнувшихся в непримиримой схватке противостояния, ребром стоял вопрос возведения земляной перемычки в узкой части озера Балхаш...

Слова эти «плотина», «перемычка», овевянные ещё недавно газетным триумфом, победными реляциями, вставали колом в горле, точно в русле здравого смысла непременно должна быть какая-нибудь препона, оправданная пусть лишь напускным пафосом преобразователей природы, их неистовым энтузиазмом зато потом спросить не с кого за проявленное геройство...

Так было и с заливом Кара-Богаз-Гол, когда вознамерились перегородить его, проявив якобы заботу о спасении Каспия. «Да посчитайте же, – выступил с резкой критикой рассудительный профессор, – уровень моря поднимется только на один сантиметр, тогда как через несколько лет в силу подмеченной наукой цикличности, без какого-либо вмешательства извне, добавка превысит более чем метровую отметку, и возникнет проблема возведения многокилометровых защитных дамб от затоплений месторождений нефти на Мангышлаке. А прямые издержки? Кладовая бесценных минеральных солей, черпаемых без затруднений экскаваторами – фабрика плодородия, как прозвали! – исчезнет, канет безвозвратно в лету, ибо фабрике, то бишь заливу, требуется постоянная подпитка от моря крепчайшим рассолом».

Так и случилось.

Кстати, более двадцати лет назад именно профессор выступал против строительства гидроузла на реке Или, прослав ретроградом.

«Уймите зуд, прикиньте, – доказывал он с колонками скрупулезных цифр, – ничего не выходит с радужными картинками сулимых благ. По причине, надо заметить, до смешного элементарной: из-за недостатка воды. Ни для проектной мощности гидроэлектростанции и заполнения водохранилища, ни для поливного – тем паче! – земледелия в осваиваемых пустынных зонах. Зато подсчитать урон окажется весьма и весьма затруднительно, ибо с каждым годом он будет возрастать несоизмеримо. Дельта реки с заводами и протоками, с богатством рыбы, дичи, с пушистым зверьком – ондатрой, что дает, попутно заметить, более миллиона в год чистой прибыли, окажется на грани уничтожения. Но главное – упадет уровень озера Балхаш, и город на берегу, и медеплавильный комбинат окажутся под угрозой гибели, поскольку восточная часть водоема – горько-соленая, и она при резком понижении уровня просто-напросто перельется в пресноводную его половину...»

Хотелось бы оказаться неправым в столь мрачных прогнозах, выдаваемых в высоких кабинетах как очернительство, мелкотравчатость, но, увы, всё, как предсказывалось, сбылось в точности. Кто бы мог подумать!

Нынче же и серьёзных исследований не провели – к каким необратимым бедам приведет новая опрометчивая затея, а уже заурчали бульдозеры, засновали тяжело груженные грунтом самосвалы, торопясь возвести привычно ещё одну на земном шаре перемычку, чтобы отсечь злополучную горько-соленую часть озера, принеся её в жертву и обрекая на неминуемую погибель.

Вот и взорвался профессор. Неистовой и яростней ещё оттого, быть может, что прежде проявлял непростительную уступчивость в позиции перед нахрапистым натиском. А может, ещё и оттого, что очертания озера на карте чем-то напоминали туфлю. Ту самую, многострадальную туфлю, искромсанную жестоко в детстве.



ибо на всю жизнь запал в памяти зарок, данный по горькому опыту, сколь легко переступить предел допустимого, за которым нет возврата...

Он гневно выступил против директора географического института, подписью которого скреплялась затеянная авантюра:

– Вы внимательнее приглядитесь, – негодовал он с трибуны, – схемы ваши и выкладки засижены мухами, точно демонстрируют нарочито глухое равнодушие и наплевательство, а потакание ведомственным интересам – не безобидный пустяк, а вполне очевидное, вопиющее преступление. Это жизнь без приумножения, за счет будущего, потомкам в ущерб!...

Дальше был провал в памяти. Сначала – какая-то внезапная, вихреобразная воронка, засасывающая покачнувшийся мир, затем – тишина, покой. Профессор так и остался в неведении, каким образом разворачивались последовавшие жаркие дебаты, какое в конечном счете было принято решение. Выступление его, поразившее всех присутствующих своей запальчивостью, непоказушным участием к судьбе озера, когда в буквальном смысле готов стоять не на жизнь, а на смерть, никого не оставило равнодушным. Решение было окончательным и бесповоротным: все работы по возведению перемычки прекратить, ибо нельзя отделяться сиюминутными полумерами, если необходим кардинальный подход – вплоть до переворота в сознании! – по спасению от гибели озера Балхаш...

В больнице врач, апатично-вялый, хотя вроде нестарый, бегло осмотрел доставленного пациента и вынес непререкаемо безутешный приговор.

Тело профессора снесли в подвал, там оставили голым на цементном полу дожидаться, пока на следующий день над ним станут хлопотать заботливо, о непоправимом причитать, воздавать почести.

Он лежал в ряду холодных, синюшных тел, тоже покорно дожидавшихся пышностей ритуала, да вот незадача... Хотя пульс и дыхание не прослушивались, в неподвижных зрачках не проявлялось никакой реакции, но что-то, верно, теплилось в глубинах мозга – или соприкосновение с прохладой брусчатки, укатанной толстым слоем асфальта, оказалось целительным? – но вопреки всему, точно в пику объективным законам материального мира, ожил профессор.

Он привстал, диковато озирался, поглядывая по сторонам. Золотистая полоска света просачивалась из-под закрытой двери, тусклые контуры закоченелых тел внушали жутковатую неприязнь и зябкую дрожь – холодно было в подвале, неуютно на цементном полу. Он поднялся и вышел в коридор, поскольку дверь оказалась запертой лишь на хлипкую задвижку, легко поддалась.

Пожилая санитарка, что увлеченно протирала шваброй пол, поначалу не обратила внимания, кто вышел из покойницкой, потом судорожно всплеснула руками, ужаснувшись, как от светопреставления, оцепенела, лепеча бессвязно губами: «Миленький, как же это так!...»

– Когда я засыпал тебя в куче листьев, – вспомнилось мне почему-то, – подумал, дети не так уж наивны, полагая, что будут жить вечно.

– Да, конечно, – согласился профессор, уже побывавший по ту сторону жизни и поэтому знавший кое-что такое, что волей-неволей придавало словам его особое значение. – Душа бессмертна, пока помнит своё происхождение в высях. Интуиция, идея, творчество обычно далеко опережают возможности реальных воплощений на земле...

– У тебя скоро день рождения, – напомнил я, полагая, что при всей его жгучей нелюбви к церемониям и чествованиям, на сей раз следовало бы это событие как-то выделить из череды однообразных будней. – Не знаю, удастся ли скоро ещё к тебе выбраться, так что позволю заранее поздравить...

Отправляясь навестить друга, я прихватил с собой благоразумно подарок, но сомневался, удобно ль, всё-таки профессор. Теперь мои опасения развеялись, я развернул сверток, важно пояснил:

– Это хорошая обезьянка. Она умеет кувыркаться через голову. Притом очень любит это занятие.

Я завел ключиком обезьянку.

– Вот так, – сказал, пустив её на пол. Сам поднялся. – Пойду, а то засиделся, отвлекаю тебя.

– Привет семье! – говорит он, протягивая узкую пятерню, правда, левую против обычного. Правая рука у него ещё не совсем отошла от удара, но он в последнее время уже начал едва заметно шевелить кончиками пальцев.

В глазах профессора мелькнет нетерпение, и я представляю, как он сейчас проследует в кабинет, запрется, показывая всем своим видом, чтобы его не отвлекали по пустякам, не беспокоили. Затем возьмет ключик, сначала неловко, неуклюже, затем все увереннее, заведет обезьянку, пустит на пол.

Обезьянка, выставляя вперед для упора длинные плюшевые лапы, станет кувыркаться через голову, вроде пряча неуместную для такого случая улыбку, и по лицу профессора широко вытянутся густые усы, чуть прихваченные инеем.

## ПОДСОЛНУХИ НА БАЛКОНЕ

Гришастый – хулиган особенный.

Хоть и ростом не вышел, да и лет маловато, но стонет от него, содрогается наш многоэтажный дом.

У кого электричество внезапно отключится, или вода из крана не каплет, так и знай – его проделки. Мудрые электрики и всеведущие сантехники, пожав плечами, лишь руками разводят обескураженно. Видно, что отнюдь не лень побуждает расписаться в беспомощности и даже не обыкновенное халтурное промышлять – набить цену за услугу, всей душой бы рады прийти на помощь слезным мольбам, но честно затылки спецы почесывают – до причин докопаться не могут.

Пострадавший же горемыка, если поворошит в памяти, то непременно вспомнит какую-нибудь оплошность по собственному недомыслию: нелестный отзыв в адрес отпетого шалопаю или тех людей, которые породили подобное исчадие, просто неловкое замечание, оброненное невзначай в наставительном тоне. Уж как он этого не любит! Терпеть не может...

Остается загадкой, какие сумасбродные ветры научно-технической революции потрепали ласковой дланью непокорные мальчишеские вихры и улетели, оставив подрастающего в грозной силе вундеркинда без присмотра.

В смутные времена всевозможных реформ и переустройств в домоуправлении кого-то осенила идея произвести сокращение штатов. Даже новую должность придумали, какой в природе не существовало – электросантехник. Вот и устроился этакий умелец, едва год проработал да столько всякого наворотил... А

смышленный малый в подручных вертелся и перенял, по-видимому, всё как есть. Один теперь и ведает, где что набекрень и наперекоски. Поневоле поумеришь гордыню, вежливые суффиксы и флексии станешь подыскивать...

Однако немилость, в какую впала Анфиса Васильевна, не поддавалась вразумительным объяснениям. Чем могла быть вызвана неприязнь? За что взъелся?

Безобидная одинокая женщина, которая, проходя через двор, лишь любезно раскланивалась с каждым. В отличие от занозистых соседок, известных своими скандальными зычностями и пронзительными визгами, её и голос-то мало кто слышал. Сколь пронырливы и дотошны любопытства к подробностям чужой жизни, но сведения о ней были крайне скудны. Знали лишь, что работала где-то бухгалтером, безбожно путала дебет с кредитом, а когда в городе развернулась шумная кампания по озеленению фасадов многоэтажных зданий, она высадила в ящиках какие-то лопухи. Все-то принялись изощряться наперебой в вычурностях шикарных гладиолусов, георгин, гераней, душистых табаков и дикого винограда – даже конкурс был объявлен и постоянно освещался «Вечеркой» – а она засеяла что-то вроде подсолнухов да ещё в такой несусветной тесноте, что при виде всходов можно было лишь подивиться неказистости растений и невзыскательности вкуса того, чьей рукой они были посажены...

– Монашка! Серая мышь! – скрипит с приглушенной свирепостью Гришастый, провожая её долгим, сверлящим взглядом. – Уж я устрою тихую обитель. Или как это там у них называется...

Он свернул за угол, скользнул через узкое оконце в затхлый от сырости подвал, где в полумраке нащупал нужные вентили. Крутнул один, покрутил другой с выверенной точностью и знанием дела, затем облегченно обстучал ладошку о ладошку. Теперь, будьте спокойны, у всех есть в кране вода, а в квартире у Анфисы Васильевны – не журчит отныне, не каплет!..

– Это что ж ты, шельмец, измываешься? – обернувшись к Гришастому, строго говорит Лев Давыдович у раскрытого электрощитка. Бархатистые вибрации его зычного голоса усиливаются гулками сводами подъезда, гудят раскатисто. – Анфиса Васильевна который уж день без света мается, а ты, оказывается, воспользовался безалаберностью электрика, забывшего опломбировать щит, да мотылька засунул в пробку.

– Это кто ж вам такое сказал? – говорит Григорий степенно, не снизойдя до того чтобы огрызнуться, ответить достойной разменной монетой на подстрекательство и наветы. Он действительно никого не боится, но с басовитым собеседником держится подчеркнуто предупредительно. Тот, хоть и бывший, на пенсии, но прокурор. – Как быть с презумпцией невиновности? Для одних, полагаете, она есть, а для других – и думать забудь?

– А сам ты как сей случай объясняешь? Со своей колокольни?

– Ну, мало, к примеру, домовых каких-нибудь шастает или барабашек. Шутят от скуки!.. А может, сам мотылек оказался из любознательных и пронырливых, вот и залез!

– Самостоятельно полагаеть? Без какой-либо посторонней помощи?

– Вполне! Уникальная, быть может, особь, которую в музей следовало бы снести, к ученым по бабочкам, а вы вон палочкой выковыриваете.

– Не юродствуй! Ишь до чего языкастый!.. Смотри у меня, попадешься с личным, не жди пощады. Безнаказанность, как известно, развращает...

Насмешливый шалопай уже вверх упорхнуть по ступенькам лестницы успел. След простыл. Лишь этажом выше хлопнула раскатисто дверь.

– Бабуль, – сипло кричит с порога, – я есть хочу. Ещё немного и кроссовки начну жевать. Ты обувью дорожишь?

– На тебе и так всё огнем горит, не напасешься, – вздыхает старуха у кухонной плиты, помешивая в кастрюльке ложечкой, дрожащей в руке. – Я с утра лежала, неможется что-то. Едва поднялась... Ты булки отрежь да маслицем помажь, покварю...

Глазуванная крынка с топленным маслом, пребывающая на почетном месте в холодильнике, у бабушки вроде святыни. Так уж неистребимо засела у неё опаска пухнуть с голоду, доставшаяся с генами ещё от родителей, от мора сплошной коллективизации, подтверждаясь лихолетьем войны и послевоенной разрухой, пустыми полками и длинными очередями в продуктовых магазинах во времена застоя, так и не выветрилась с годами. Самой-то ей немного нужно... Внук бухтит, выговаривает про причуды и ложные страхи, а пристрастился, зачерпнет ложкой, на толстый ломоть хлеба размажет, щепотью сахара сдобрит, вот тебе и сыт, ни клят, как говорится, ни мят...

– Сядь только, – ворчит бабка под бульканье в кастрюльке. – Вертлявый стал и тощий. Пережевывай получше...

Вообще-то Гришастому, чтобы взбелениться, из себя выйти от свирепости, бывает достаточно и куда меньшего повода – одного лишь намека, мнительного подозрения на помыкание, а тут впору самому подивиться своей покладистости.

Он взбирается с ногами на огромный старинный сундук, обитый полосками поржавелой жести и покрытый пестрым лоскутным одеялом, что испокон веку громоздится на кухне. К стене с той же стойкой чертой нелюбви к переменам припиlena кнопками пожухлая политическая карта мира, выгоревшая от солнца, вся в мушиных отметинах, столь допотопная, устаревшая, что колониальные страны на ней продолжают томиться среди сизого чада от сковородок и душистого пара кастрюль на плите, не могут сбросить гнета забытых названий и старой раскраски, мечтая, верно, как в сладком забытии о желанной свободе.

Когда-то тут дед любил устраивать читки вслух свежих газет, просвещал бабушку, политически подковывал. И она любила эти неспешные часы, внимательно слушала, а иногда вроде как по наивности, от неведения задавала всякие провокационные вопросы. Приподняв голову от газеты, глядя поверх очков, ттец, преисполненный терпения, принимался давать долгие, пространные толкования в свете генеральной линии партии, точно слушательница должна была предстать перед какой-нибудь грозной комиссией для переэкзаменовки. Преисполненная смирения, она покорно кивала головой, хотя думала о своем...

Зато искренне разделяла мнение вождя мирового пролетариата, что каждая кухарка сможет управлять государством. Обстоятельный дед, конечно, при этом вспыхивал, заметно багровел, но, не возвысив тона, вопрошал так, чтобы сразить наповал, обнаружив несостоятельность и полную некомпетентность: «Как же это ты сможешь управлять государством, если у тебя нет классового чутья?» Бабушка не оставалась в долгу, парировала с невозмутимостью: «Зачем оно мне?» «Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя – непреложный закон бытия». «И это очень и очень плохо!» – сокрушенно вздыхала она, так словно на какое-то мгновение, пусть на самую малую долю секунды побывала во главе

государства. И заключала весомо: «Настоящим только и может быть свободный человек, сбросивший в себе оковы».

Дед принимался просвещать, читал долгую лекцию о вреде невежества, а бабушка вроде слушала его и в то же время была уже где-то далеко – в своей молодости. Как она шла пыльным проселком, притомилась и вдруг, сама того от себя не ожидая, повалилась, раскинув руки, прямо на клеверное поле.

...Небо над головой было иссиа-фиолетовое, бездонное и вечное, гудели яростно озабоченные насущными трудами мохнатые шмели, копошились в красноватых и белых душистых цветках, а сердце стучало о теплую, в буйном разгуле землю так явственно и сладко, что казалось, если это и не вся мера счастья, то – весьма близкое его приближение, лишь руку протяни и черпай горстями, носи полными охапками... Так близко было счастье, так возможно, а за всю жизнь, сдается, не придвинулось ни на йоту. Почему, думалось, у подлости есть закон, а у счастья, для которого, собственно, и рождается человек, вроде он и не написан. Как будто без горестей и бед жизнь была бы однообразно скучна, банальна, а с невзгодами – куда пристойней, веселей... Теперь вот старость навалилась, болезни, веселья, прямо скажем, маловато!..

– Пусть ещё полчаса поварится, а я прилягу...

Как для бабушки клеверное поле – раздолье, так для Гришастого что-то в этом роде всякие рыки и вопли «металлических» групп. Неистово, раскованно – дико красиво! Каждый звук в насаде и содрогании оглушительного рева заявляет о себе отдельно, ликует разнузданно всеми фибрами динамиков, а не тычется аезженными тропами елейных мелодий, словно в понурой очереди за скудной пайкой. Беснующиеся оргии раздирающих аккордов похожи на солнечные протуберанцы, вырывающиеся в дикой пляске из раскаленных огненных недр гигантского по своим масштабам светила, и это пристойней вялых постных мин и апатии подневольных приличий...

Так злые подростки в подворотне завывают в похабном оре, бренчат неумело на фанерной гитаре, пьют дешевое вино, передавая друг другу с многозначительной важностью липкий стакан, затянувшись замусоленной сигаретой без фильтра. Потом их на пьяные подвиги тянет, пристают вызывающе к прохожим, поглядывая смело и дерзко в глаза – дух перехватывает от этой задиристости. У робких карманы выворачивают с бесцеремонностью. Бряцание мелочи этой легкой добычи по цене пуще всяких сокровищ, и в хмельном угаре продолжается бражный кураж, откупоривая небрежным щелчком новой «флакон», а Гришастый позорно изгоняется: «Вали-ка, мал ещё!».

И он уходит понурый. Бредет в свой подъезд как побитая собака, затем с порога напускается, вымещая досаду, на бабу, кликавшую его давно и безуспешно в раскрытую форточку: «Чего на весь двор расшумелась? Как маленького позоришь!..» «Ах, Гришуна, – вяло канючит она, – как душа за тебя болит, кабы кто знал... И чего ты маешься? Себя почем зря изводишь и меня заодно, я просто места себе не найду. Вот наказание!»

Проглотив торопливо стылый ужин на кухне, он взбирается на излюбленный сундук, принимается сумерничать, будто зализывает при восковом лунном мерцании все обиды и унижения, выпавшие на жизненной стезе. Сладко ему грезить, как он подрастет, станет мерзким, проницательным и грозным паханом, предводителем банды не маменькиных сынков, а самых крутых, неустрашимых

рыцарей удачи, разгребающих, не гнушаясь черной работы, затхлые завалы этого загнившего от пошлости и отбросов замороченного бытия...

В окно машинально глянул, а через двор – так и есть! – Анфиса Васильевна бредет понуро с пустым ведром, чтобы воды набрать в колонке – не много, чай, натаскаешь при её худосочной фигуре на пятый этаж...

Женщина натужно давит на рычаг колонки, поджидает, пока бьющая струя наполнит ведро, затем, взявшись за дужку, вся изгибается под тяжестью, как будто тонкую осину клонит свирепая буря, и столько терпения в хрупком облике, столько кроткой стойкости и безропотного смирения перед всеми лютыми напастями в судьбе, что Гришастый даже подскочил как ужаленный.

Он кинулся кубарем вниз по лестнице, выбежал во двор, подхватив с клумбы горсть земли. Сровнявшись с женщиной, что шагала, ничего не подозревая, он метнулся к ней и швырнул земляной ком в наполненное ведро. Вода, серебрясь от оцинкованных стенок, ещё ходила кругами, а пятно жирной, с растрепанными космами грязи принялось опускаться по спирали на дно, оставляя черный зловещий шлейф.

Зачем он это сделал?

Он сам не мог ничего толком сообразить. Отпрянул и остолбенел истуканом, ибо как-то бесславно и унизительно было броситься опрометью наутек, поглядывая с тихим, свирепым вызовом.

Женщина опустила молча ведро, стала тереть пальцем глаза, словно попала соринка, не принялась вопить на весь двор, не церемонясь в бранных хулах и выражениях, не выругалась, затем медленно, не оборачиваясь, побрела прочь, только ноги при ходьбе будто подкашивались.

Гришастый чуть растерялся, не получив должного отпора. Он стоял озадаченный, разглядывая тупо мутные вихри в ведре, как подошел Лев Давыдович, который не мог скрыть своего торжества:

– Вот и с поличным, Григорий! Теперь не отвертись.

Гришастый не тронулся с места. Позорное бегство было бы вполне оправданным, даже вроде геройским, но сам поступок почему-то разочаровал. Легко оправдать себя за толчок какого-то мстительного чувства, затмившего на миг сознание, как умопомрачение, но с другой стороны, эти грязные водовороты неприятно коробили, вызвав в душе ответную взбаламученную смуту. Что-то жалкое было во всем этом, недостойное.

– Для начала вылей-ка воду из ведра да ополосни его как следует, – распорядился с грозными клокотаниями в гортани Лев Давыдович.

Застигнутый на месте преступления злоумышленник свирепо зыркнул на бывшего прокурора, олицетворявшего долгожданное возмездие, но против ожидания покладисто исполнил повеление. Отмыл ведро от грязи, дважды ополоснул без подсказки.

– До краев наполни да отнеси-ка на пятый этаж, – повелевал служитель Фемиды.

И это было исполнено, подивив смирением – когда с ним происходило что-нибудь подобное? Даже не припомнит...

Изогнувшись в три погибели под тяжестью ведра, Гришастый однако не снискал сочувствий от непреклонного прокурора, который лишь снизошел до напутствия:

– Ничего, сдюжишь! Ты, я заметил, жилистый...

С насадным пыхтением, обливаясь потом, Гриша ня поднимал наполненное ведро по ступенькам лестницы, расплескивал воду, сопел, стонал, скрежеща от науги зубами, и когда нажал кнопку дверного звонка, то буквально выбился из сил.

– Вот, – только и выдохнул.

– Батюшки! – всплеснула руками женщина. – Как же это ты дотащил, такая кроха?.. Проходи, отдышись маленько...

Они вместе, ухватившись за дужку с двух сторон, занесли ведро на кухню. Незлобивая речь с простодушным выговором, где намек не было на вымещение затаенных обид и неприязни, ошеломила, как-то обезоружила обычно колючего, склонного к мнительной подозрительности Гришастого. Он неловко помялся на кухне, затем, последовав приглашению, послушно прошел в комнату, уселся на старый, обшарпанный диван. Тут только, спохватившись, прикрыл ладошкой дражную штанину, в которую проглядывало острое, с запекшимися ссадинами колено, и тогда приосанился, преисполнился горделивого сознания в полном отсутствии конфузливых церемоний, сделался самоуверенным, привычно нагловатым.

Убранство комнаты особой пышностью не отличалось. Ни привычных, как у всех соседей, полированных гарнитуров с изобилием сверкающего хрусталя на полках, ни диковинных ворсистых ковров. Было прибрано, уютно, и что особенно поражало, будто какой-то мягкий рассеянный свет проникал неизвестно откуда, заполняя всё пространство. Гришастый крутил головой, пытался понять причину этого загадочного обстоятельства, дать ему подходящее объяснение, но не находил...

Внимание привлекли два портрета в деревянных рамках на стене. Фотографии были довольно староватые, с данью ещё давней традиции в росчерках примитивной ретуши при увеличении.

– Кто это? – спросил Гришастый, указав на портрет юноши. – Ваш сын?

– Да. Бориска мой – Барбариска!

– Отчего не с вами живет?

– Погиб он...

Впрочем, об этом нетрудно было догадаться. Подрисовывая любительский снимок, усердный ретушер пытался по возможности приукрасить портрет, подчеркнуть для выразительности безмятежность юного лица, а на губах будто проступала тень сырой могилы, землистый цвет которой ни с чем не спутать, не замазать умелой кисточкой.

– В Афгане?

– Нет, урожай спасал. Хлебное поле горело.

Вполне возможно, женщине хотелось увидеть горячий отклик на геройский поступок сына, и желание это было бы вполне оправданным, естественным, но Гришастый поглядывал непроницаемо, даже фыркнул с долей ехидства:

– Что за нужда была? Сколько этого зерна пропадает – гниет почем зря, и воруют.

– Грешным делом и я так думала, – смущенно улыбнулась Анфиса Васильевна. – Безрассудства его никак не могла ни простить, ни оправдать. Кому нужна посмертная слава? Пустая трескотня и никчемность.

У циничного собеседника даже бровь слегка изогнулась удивленным вопросом:

– Вот как?

– Не рассказать, сколько слов потратила, разубеждала, как будто предчувствовала что-то недоброе... Разве мало, доказывала, на земле достойных профессий? А он уперся, твердолобый, своё гнет – трактористом стану...

Муж мой в молодые годы на шахте работал, в завал угодил, шибко грудную клетку ему помяло, осложнение на легкие дало, врачи прописали сельский воздух да настои трав, вот мы и переехали в деревню... Это со стороны посмотреть, в кино – природа, красота! – а на деле – хуже каторги. Грязь, бездорожье, нужда – голь перекатная, одним словом. Оттого люди в город бегут... «Хуже всех, что ли? – толковывала сыну. – Был бы бестолочью, недотепой – ещё куда ни шло, не обидно. В техникум мог бы поступить, на завод пойти или даже на стройку, всё ведь лучше». «Нет, – стоял на своем, – мне вам помогать нужно». Первый день отработал, радостный такой появился, сияющий, мол, хлебное поле поручили опаживать.

...Лето выдалось знойным, рослые хлеба стояли по пояс, созрели разом и сделались как порох. Искры достаточно от выхлопной трубы или окурка, брошенного пьянчужкой по небрежности, чтобы всё полыхнуло. Жуткое это дело, когда хлеб горит. Пламя отвесной стеной, и небо черным-черно... Бориска как это увидел, помчался сломя голову. Думал пропахать, чтобы огонь отсечь – единственно верное средство! – и всё бы хорошо, самую малость оставалось, как настигло пламя... Ему б, беспутному, бросить трактор – пропадай пропадом, своя рубашка, чай, ближе к телу, а он вцепился в раскаленные рычаги, вел до последнего, до края злополучного поля, пока сам не превратился в головешку. Урожай-то спас. Газеты писали – «Огненный тракторист», и по телевидению показывали...

Анфиса Васильевна долго молчит, вздыхает.

Гришастый смотрит на неё, чуть наклонив голову, спрашивает:

– А с мужем вашим что?

– Муж после этого случая через полгода скончался... Горе его как подкосило... Он вроде и в строгости держал сына, а души в нем не чаял. Надышаться не мог. Тем, можно сказать, и жил... Да и моя жизнь будто переломилась... Это вроде того, как бурей отломит ветку, посмотришь, листьев полна и плодов, а на деле – ненужный дрючок...

Гришастый сидит, напыжившись, силой воображения старается представить, как бы он сам поступил, застигнутый бушующим, огненным смерчем? Вел бы машину, вцепившись в раскаленные докрасна рычаги и корчась от нестерпимой боли? Или бросил, спасовав?.. Но фантазии недостает, хотя, кажется, вот-вот задохнется в едком чаду, и в воздухе резко пахнет паленым...

– Вы на мою маму чем-то похожи, – неожиданно признался он как-то невпопад. – Я оттого и взелся... Отец уже несколько лет за границей работает, в Африке по контракту, мать научной работой занята, меня отослала к бабке. Попишет немного свою диссертацию и во всякие турпоходы отправляется, в круизы или по Алтаю на лошадях через горы. А про меня будто забыли. Обидно... Вы уж простите...

– Я не обижаюсь. К стыду своему, у меня-то и чувства все как онемели. Чурка-чуркой, хоть обухом огрей... Время, говорят, лечит, а мне ещё хуже... Читать стараюсь больше, но как-то не отвлекает... Недавно в деревню ездила, там сыну памятник на центральной усадьбе установили. Покрывало скинули, я вглядываюсь в родные бронзовые черты, хочу расплакаться и не могу. Сердоболь-



ные старушки меня в бок толкали, мол, пореви, в голос повой – легче станет, а у меня как камень в груди. Умом-то понимаю, не по указке властей памятник, на народные деньги – на сходе так порешили, выходит, достойная честь и слава, но мне-то какое с того утешение? Нет мне утешения. Были б хоть внуки, а так... Потом ехала в поезде и, знаешь, о чем подумала? Мысль, наверное, довольно банальная, но во мне будто что-то приоткрылось... Понимаешь, человек уж так устроен, что за все он платит сам...

– Да, – согласно кивнул Гришастый, – я тоже так думаю.

– За ошибки и безрассудства человек сам расплачивается, а также и за хорошие поступки... И важно, что у него есть выбор. Просто на земле много таких людей, для которых пожертвовать всем на свете важнее, чем просто жить в своё удовольствие. Я ни тех, ни других не осуждаю, но хорошо, что у человека есть выбор. Свобода выбора... Впрочем, гостя потчевать полагается, хотя мне, признаться, и предложить особенно нечего. Борщ, если он вчерашний, будешь?

– Угу. Я, не сказать, что привередлив в еде.

– Тогда сейчас подогрею...

Она поспешила на кухню громыхать кастрюлей, тарелками, а мимоходом делилась кулинарной премудростью:

– Я рационализацию себе придумала. Варю борщ на три дня, он, как постоит, ещё вкуснее оказывается. Зато столько времени высвобождается... Кстати, ты умеешь варить борщ?

– Нет.

– Хочешь, научу?

– Хорошо бы, – кивал Гришастый признательно.

Он сидел на потертом диване, оглядывался, как-то по-другому рассматривал портреты в деревянных рамках и тут, повернувшись в сторону балкона, неожиданно понял, откуда этот странный мягкий свет. От тех ярко-желтых цветков, что как лохматые лопухи тянулись в ящиках.

– А зачем вы подсолнухи посадили так густо? – спросил он хозяйку.

– Это не подсолнухи, – сказала она, внося в комнату тарелки с душистым борщом и загадочно улыбаясь. – Это – девясил. Вообще-то его иногда называют и диким подсолнухом... Признаться, без какой-нибудь задней мысли посадила, когда сказали про озеленение. Раньше, ещё в деревне, семена собирала. Лечебных свойств растение – мужу крайне необходимо было как лечение... Помню, мы пойдём с сыном на луг собирать травы, а там – будто тысяча маленьких солнц. Бегаем в догонялки, такие беспечные, счастливые... Без всякого умысла садила, теперь же эти цветы мне как сил придают.

Всполохи багряного зарева уходящего дня затухали за крышами дальних зданий, быстро смеркалось, а от ярких золотистых цветков, что заглядывали с балкона, повернув удивленные головки, и от двух несмелых улыбок им в ответ в комнате становилось светлее.

